
Элли
Чэндлер
ТЫ РАЗБИЛ
не то сердце

Элли Чэндлер

Ты разбил не то сердце

«Литнет»
2026

Чэндлер Э.

Ты разбил не то сердце / Э. Чэндлер — «Литнет», 2026

— Поля, давай без сцен, — начинает он, хотя я ещё ничего не сказала. — Я ухожу. — Он поправляет запонку. — К Кристине. Мы давно… В общем, ты взрослый человек, ты всё понимаешь. После праздников заберу вещи. Сделаем всё по-цивилизованному.По-цивилизованному. Пятнадцать лет вместе, Варя, клиника, ипотека, которую мы закрыли вдвоём в двадцать первом, — и всё это по-цивилизованному.— Почему сегодня? — спрашиваю я.— Потому что ты бы всё равно увидела. — Он морщится. — И потому что я устал врать.— Сколько?— Что — сколько?— Сколько ты устаёшь. Месяц? Полгода?— С сентября.В сентябре мы ездили на дачу к его маме, и он по сорок минут выходил «на звонки». Я думала, что звонят пациенты.— А Варя? — Варя поймёт. — Он пожимает плечами. — Буду забирать её на выходные. Я же не исчезаю.— Ты был на её тренировке последний раз в сентябре.— Поля, у меня операции.— У тебя операции с сентября. Я заметила.

© Чэндлер Э., 2026
© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1. Тост за десять лет 5
Глава 2. Ночная эхокардиография 10
Глава 3. Наёмный врач 14
Глава 4. Свекровь с пирогом 18
Глава 5. Условия пациента 22
Глава 6. Чужое слово 26
Глава 7. Новый год без мужа 30
Глава 8. Нижний Тагил 34
Глава 9. Каникулы у папы 38
Глава 10. Чужой кабинет 42
Глава 11. Матч, на который он не пришёл 46
Глава 12. Жалоба 50
Глава 13. Ген 54
Глава 14. Передать пациента 58
Конец ознакомительного фрагмента. 59

Глава 1. Тост за десять лет

Третий раз переписываю одну и ту же строчку: ручка мажет, карточка мнётся в пальцах.

«За тех, кто строит».

Коротко, скромно, без «дорогих коллег» и «нашего дружного коллектива». Десять лет назад я сама клеила обои в первом кабинете и могу позволить себе обойтись без пафоса.

— Ты в ней сейчас дырку протрёшь, — Зоя ставит передо мной бокал с минералкой. — Гордеева, выдохни. Это корпоратив, а не защита диссертации.

— Защиту я пережила. Тост — не уверена.

— Зато платье переживёт всё. — Она прищуривается на моё синее. — Слушай, ты в нём моложе лет на пять. Вадик видел?

— Вадик видит только презентацию для инвестора. Сорок слайдов, неделю не спал.

— А тебя в ней показывают?

— Меня обещали позвать «в нужный момент». Баженов, говорят, интересуется детскими программами. Моим «Ритмом».

За три года скринингов в спортивных школах через мои руки прошли три тысячи восемьсот детских кардиограмм. Если человек с деньгами захочет, чтобы такие проверки шли по всей области, я готова говорить с ним хоть всю ночь — хоть на террасе в минус восемнадцать.

Ресторан на крыше бизнес-центра гудит. Внизу лежит Екатеринбург в огнях: зелёные линии проспектов и мигающие точки машин, как на мониторе в палате интенсивной терапии. Наши врачи стоят в непривычных пиджаках, медсёстры — в блёстках, регистратура фотографируется у ёлки из белых шаров. «Кардиоклинике Гордеева» десять лет. Юбилей был первого декабря, но праздновать решили девятнадцатого, когда в городе гость, ради которого Вадим неделю репетировал улыбку.

Баженов — склады, терминалы, благотворительный фонд. Я вижу его только издалека: высокий, с седым виском, в костюме без галстука. Он стоит у панорамного окна и слушает Вадима с вежливым лицом человека, которому что-то продают.

— А эта всё снимает, — Зоя кивает в сторону.

Кристина, наш маркетолог, двадцать шесть лет, гладкий хвост и телефон на вытянутой руке. Она снимает Вадима у окна, Вадима с бокалом, Вадима, который смеётся.

— Это её работа, — говорю я. — Блог клиники.

— Блог клиники за весь вечер ни разу не снял тебя. Ни тебя, ни меня, ни Петровича из рентгеноперационной. Только главного врача. С пяти ракурсов.

— У главного врача хорошие ракурсы.

Зоя фыркает и уходит за канапе, а я снова смотрю в карточку.

«За тех, кто строит. За тех, кто…»

Когда я поднимаю глаза, Кристина уже не снимает. Она стоит рядом с моим мужем, и её ладонь лежит у него на спине — не на плече, как на общем фото, а ниже, привычно. Так кладут руку на своё.

Вадим не отодвигается.

Два пальца сами ложатся на запястье под столом. Сто восемь. Спокойно, Гордеева, это просто рука.

Он оборачивается, видит меня и идёт через весь зал с тем лицом, с каким выходит к родственникам после неудачной операции.

* * *

На террасе минус восемнадцать, на перилах гирлянды, изо рта идёт пар. Двое курильщиков при нашем появлении гасят сигареты и исчезают: Вадим умеет посмотреть так, что люди вспоминают о срочных делах.

— Поля, давай без сцен, — начинает он, хотя я ещё ничего не сказала.

— Я ухожу. — Он поправляет запонку. — К Кристине. Мы давно… В общем, ты взрослый человек, ты всё понимаешь. После праздников заберу вещи. Сделаем всё по-цивилизованному.

По-цивилизованному. Пятнадцать лет вместе, Варя, клиника, ипотека, которую мы закрыли вдвоём в двадцать первом, — и всё это по-цивилизованному.

— Почему сегодня? — спрашиваю я.

— Потому что ты бы всё равно увидела. — Он морщится. — И потому что я устал врать.

— Сколько?

— Что — сколько?

— Сколько ты устаёшь. Месяц? Полгода?

— С сентября.

В сентябре мы ездили на дачу к его маме, и он по сорок минут выходил «на звонки». Я думала, что звонят пациенты.

— А Варя?

— Варя поймёт. — Он пожимает плечами. — Буду забирать её на выходные. Я же не исчезаю.

— Ты был на её тренировке последний раз в сентябре.

— Поля, у меня операции.

— У тебя операции с сентября. Я заметила.

Он впервые за вечер отводит глаза.

Внутри что-то сжимается и тут же отпускает, будто организм решил, что сейчас не время. Я врач и умею слушать анамнез, даже когда пациент врёт сам себе.

— И ещё. — Вадим понижает голос. — Там Баженов. Сделка почти закрыта, Поля. Пожалуйста. Не порть мне вечер.

Вот оно: не «прости» и не «я виноват», а «не порть мне вечер».

Я разглядываю его внимательно, как снимок. Ухоженный, загорелый в декабре, с новой стрижкой и в кедах под костюм — с осени. Тогда я решила, что это кризис возраста, и ошиблась только наполовину.

— Знаешь, какой у тебя диагноз? — говорю я.

— Поля…

— Острая недостаточность совести на фоне хронического самолюбования. Прогноз благоприятный. Для тебя.

Он открывает рот и тут же его закрывает.

— Я не испорчу тебе вечер, Вадим. — Голос звучит ровно, я сама удивляюсь. — Мне поручили тост. Я его скажу.

Я разворачиваюсь и иду к двери. Ноги не дрожат, и это главное открытие сегодняшнего вечера. У порога я всё-таки оборачиваюсь.

— Вещи заберёшь не после праздников. Сегодня. Ключи у тебя есть, Варя спит, няня тебя знает.

— Поля, ночью? Это же…

— По-цивилизованному. Ты сам сказал. — Я берусь за ручку. — Я не хочу утром объяснять дочери, почему папина бритва в ванной, а папы нет.

Он взвешивает, а потом кивает — с облегчением, которое даже не пытается спрятать.

За стеклом, в тёплом зале, горит красная точка: Кристина держит телефон у груди, и камера смотрит на террасу.

Конечно, она снимала.

* * *

— А теперь слово заведующей отделением функциональной диагностики, человеку, без которого… — ведущий заглядывает в бумажку, — без которого в этих стенах не было бы ни одного УЗИ сердца! Полина Андреевна Гордеева!

Раздаются аплодисменты, кто-то свистит — кажется, Петрович.

Я поднимаюсь: синее платье, каблуки, карточка в руке. До микрофона двадцать шагов, и я их считаю, как в ординатуре считала шаги от приёмного до реанимации. На полпути я смотрю на карточку — «За тех, кто строит» — и понимаю, что скажу это потом, когда будет что строить.

Карточка отправляется в сумочку. Микрофон ещё тёплый от чужой руки.

Зал смотрит на меня. Вадим стоит у окна рядом с Баженовым, Кристина — у колонны, и телефон у неё снова поднят.

— Десять лет назад, — говорю я, — в этой клинике было два кабинета, один аппарат УЗИ в кредит и двое сумасшедших, которые верили, что можно лечить сердца частным образом и при этом честно.

Смех тёплый, свой.

— Один из этих сумасшедших стоит у окна.

Головы поворачиваются к Вадиму, и он улыбается — широко, профессионально.

— Второй — перед вами.

Пауза получается сама, я её не планировала, но она выходит правильной: зал затихает, даже официанты замирают с подносами.

— Я поднимаю бокал за клинику, которую строили двое. И за правду. Она всегда выходит наружу, как её ни прячь. Мы с вами врачи, мы знаем это лучше других.

Секунду или две никто не шевелится. Потом Зоя хлопает первой — громко, отчаянно, — и зал подхватывает.

Вадим бледнеет, и его загар вдруг становится похож на плохой грим. Баженов не аплодирует. Он смотрит на меня с интересом, чуть наклонив голову, — так смотрят на анализ, который не сходится с диагнозом.

Я ставлю бокал на поднос официанту, так и не отпив.

У края сцены меня перехватывает Вадим. Улыбка на месте, а пальцы на моём локте сжимаются чуть сильнее, чем нужно.

— Ты что устроила? — шёпотом, сквозь зубы.

— Тост. Ты просил не портить вечер. Посмотри — все довольны.

— Поля, при Баженове…

— Баженову понравилось. Он не хлопал, но смотрел.

Я аккуратно снимаю его пальцы со своего локтя, как снимают электрод.

Десять лет я молчала на всех его докладах, когда он говорил «мы» про мою работу, и пятнадцать лет — дома. Оказывается, одна фраза в микрофон весит больше. Объявила ли я сейчас войну? Нет, я просто перестала молчать.

В гардеробе меня догоняет Кристина — румяная, с телефоном, пахнущая чем-то сладким и дорогим.

— Полина Андреевна, вы очень красиво сказали. — Она медлит. — Вы же понимаете, я ни в чём не…

— Кристина, — я забираю пальто из рук гардеробщицы, — выключите камеру. Хотя бы сейчас.

Она краснеет и опускает телефон, но экран продолжает светиться.

— Ты куда? — Зоя ловит меня у выхода. — Поля, ты гений, ты…

— Домой. У Вари завтра тренировка.

— Я с тобой.

— Нет. — Я сжимаю её руку. — Останься. Посмотри, что будет дальше. Завтра расскажешь.

У лифтов толпа: бухгалтерия, регистратура, две медсестры из процедурного. Все они видели, и все будут смотреть на меня в зеркальных стенах двенадцать этажей вниз и молчать.

Нет уж. Я толкаю дверь с табличкой «Служебная лестница».

* * *

Каблуки грохочут так, что я их снимаю, и холод бетона сразу пробирается сквозь колготки в ступни. Двенадцатый этаж, одиннадцатый. Где-то внизу хлопает дверь.

Здесь можно плакать, никто не увидит. Я жду слёз, а их нет — есть только злость, ровная и плотная, как хорошо затянутый узел.

Десятый, девятый.

На площадке между восьмым и седьмым лежит человек.

Сначала я вижу ботинок — дорогой, начищенный, носком вверх, потом руку на ступеньке, а потом всё сразу: мужчина в тёмном костюме лежит на боку, щекой на бетоне.

Туфли падают у меня из рук.

— Мужчина! Вы меня слышите?

Он не отвечает.

Я оказываюсь на коленях раньше, чем успеваю подумать. Два пальца на шею, под угол челюсти: пульс есть, слабый и неровный, но есть. Наклоняюсь к лицу — дышит, грудь поднимается.

Обморок, не остановка. Пока.

Дальше работают руки: я переворачиваю его на спину — пиджак тяжёлый, в кармане что-то твёрдое. Ноги кладу на ступеньку выше, под пятки подсовываю свою сумочку, расстёгиваю верхнюю пуговицу рубашки. Часы на запястье у него старые, советские, на стальном браслете, совсем не по костюму.

Я считаю про себя: десять секунд, двадцать. Седой висок, горбинка на носу.

Баженов.

На тридцатой секунде он вдыхает глубоко, со всхлипом, как ныряльщик, и открывает глаза — светло-карие, с тёмным ободком. Смотрит на меня, на потолок и снова на меня.

— Не двигайтесь, — говорю я. — Вы потеряли сознание.

— Я… — Голос хриплый. Он пытается приподняться, и я прижимаю ладонь к его груди; сердце под рукой бьётся быстро и суетливо. — Я просто не люблю лифты.

— Голова кружилась раньше?

— Бывало. — Он медлит. — На лестницах.

— Боль в груди? Сердце колотилось перед тем, как упали?

— Колотилось. Как будто кто-то стучит изнутри в дверь. Потом свет выключили.

Сердцебиение перед обмороком. Я мысленно ставлю галочку, и эта галочка мне очень не нравится.

— Сколько выпили?

— Полбокала. Для приличия. — Он морщится. — Вы всегда так допрашиваете?

— Только тех, кого нахожу на полу. Сколько этажей вы прошли?

— Вниз? Четыре. — Он пытается улыбнуться. — Обычно я хожу вверх. Вниз — для слабаков.

Губы у него серые, на лбу испарина, а он шутит.

Я беру его запястье и засекаю время на телефоне. Удары сбиваются: пауза, два подряд, снова пауза. Это не духота и не шампанское — я видела такие пульсы у людей, которым потом было не до шуток.

Правило простое: обморок при нагрузке, неровный пульс, мужчина за сорок — значит, скорая и кардиограмма, без вариантов. Я сама вдалбливала это ординаторам и рисовала на

доске стрелочки. А этот человек — главный гость Вадима, тот самый, ради которого меня просили не портить вечер.

Плевать. Сердцу всё равно, кто кому что продаёт.

— Я вызываю скорую.

Он двигается быстрее, чем я ожидаю: пальцы смыкаются на моём запястье — не больно, но так, что телефон замирает в воздухе.

— Никакой скорой, — говорит он тихо и очень ясно. — Если завтра узнают, что я упал, я потеряю сделку. И людей, которые от неё зависят.

Глава 2. Ночная эхокардиография

Я не убираю руку, и он не отпускает. Так мы и сидим на бетоне: я в колготках, он в костюме за цену моей машины, а между нами телефон с набранными «ноль-три».

— Хорошо, — говорю я. — Без скорой.

Пальцы на моём запястье разжимаются.

— Но тогда ЭКГ и УЗИ сердца. Сейчас. Не завтра, не «после праздников», не «когда будет окно в графике».

— Сейчас ночь.

— А у меня ключи от кабинета функциональной диагностики. Десять минут отсюда. — Я смотрю на него в упор. — Или скорая. Выбирайте.

Он смотрит на меня так, будто я предложила ему сделку и где-то в ней спрятан подвох, ищет его и не находит.

— У меня водитель внизу.

— Отлично. Встать можете?

Он встаёт сам, медленно, держась за перила. Я подбираю туфли, сумку и пальто, и мы спускаемся на лифте. Все семь этажей он молчит и смотрит в стену с таким выражением, будто лифт ему что-то должен.

Внедорожник у служебного входа тёплый и пахнет кожей. Немолодой молчаливый водитель бросает на меня один взгляд и больше не смотрит — хорошая школа.

— Арсений Баженов, — говорит мой пациент, когда машина трогается, и протягивает руку.

— Я знаю, кто вы.

— Тогда вы знаете, что я могу… — он подбирает слово, — отблагодарить. За вечер. И за то, чтобы этот вечер остался между нами.

Вот как: полчаса назад он лежал на бетоне, а сейчас уже ведёт переговоры.

— Назовите сумму, — добавляет он спокойно. — Я не торгуюсь.

— Я тоже. — Я поворачиваюсь к нему. — Врачебная тайна бесплатная, Арсений… простите, не знаю отчества.

— Аркадьевич.

— Арсений Аркадьевич. Она в законе прописана. А обследование оплатите по прейскуранту. ЭКГ — тысяча восемьсот. Эхо — четыре двести. Можно картой.

Секунды три он просто смотрит на меня, а потом смеётся — коротко и удивлённо, как человек, который давно не смеялся по-настоящему.

— Ваш муж говорил, что вы лучший диагност в городе.

— Мой муж много чего говорит.

— И ещё условие. — Он поворачивается ко мне всем корпусом. — Ни слова Гордееву. Ни о лестнице, ни об обследовании.

— Я не отчитываюсь главному врачу о своих пациентах. — Я делаю короткую паузу. — Особенно сегодня.

— Особенно сегодня, — повторяет он медленно. — Тост был про него?

— Тост был про клинику.

— Угу. — Он отворачивается к окну. — Я полжизни слушаю тосты, Полина Андреевна. Ваш был единственный, после которого мне захотелось проверить, кто что строил.

Я не отвечаю. Мне тоже хочется это проверить, но не сегодня.

Няня отвечает с третьего гудка, сонно и обиженно:

— Полина Андреевна, вы обещали до часу.

— Знаю. Двойной тариф. До четырёх. Варя спит?

— Спит. И Вадим Сергеевич…

— Потом. — Я сбрасываю раньше, чем она договорит.

Баженов смотрит на меня, но ничего не спрашивает, только чуть сдвигается на сиденье, будто освобождает место для того, о чём я не говорю.

За окном плывёт ночной проспект. Я везу инвестора Вадима в клинику Вадима, чтобы посмотреть сердце, на которое Вадим рассчитывал. Хорошая шутка, жаль только, что рассказать её некому.

* * *

Охранник Сергеич открывает дверь, видит меня в вечернем платье, с туфлями в руке и мужчиной в костюме за спиной — и не задаёт ни одного вопроса. Десять лет стажа в частной медицине.

В кабинете я включаю свет, аппарат и кондиционер. Гул, щелчок, писк самопроверки — от привычных звуков руки успокаиваются раньше головы.

— Рубашку снимите. Ложитесь на левый бок, потом на спину.

— Сразу на «вы» и раздеваться, — бормочет он, но расстёгивает пуговицы.

У него широкие плечи и старый белый шрам на ключице. Под левым соском сердце бьётся так, что видно даже глазом: толчок верхушки сильный и смещённый.

Я ставлю электроды на двенадцать отведений, и аппарат начинает выдавать ленту. Глядя на неё, я чувствую, как холодеет затылок. Высокие зубцы, глубокие отрицательные Т в грудных отведениях, похожие на перевёрнутые галочки, — признаки гипертрофии левого желудочка. У сорокатрёхлетнего мужчины, который «ходит по лестнице вверх».

— Что-то не так? — спрашивает он.

— Пока ничего не скажу. Ложитесь на бок.

От холодного геля он вздрагивает и тут же делает вид, что не вздрагивал.

На экране появляется серая картинка. Я веду датчик, ищу окно между рёбрами, пока не вижу сердце в разрезе: камеры, клапаны, перегородку между желудочками. Перегородка толстая — и не просто толстая. Я ставлю курсор, измеряю, перемеряю в другой проекции.

Двадцать четыре миллиметра при норме до одиннадцати.

— Вы перестали дышать, — замечает он. — Это плохой знак?

— Я дышу. — Я убираю датчик и протягиваю ему салфетку. — У вас гипертрофическая кардиомиопатия. Мышца сердца утолщена — в первую очередь перегородка между желудочками. Обычно это наследственное.

— Звучит солидно.

— Звучит как причина, по которой вы сегодня лежали на лестнице. Утолщённая мышца хуже расслабляется, по ней хуже идёт электрический импульс. При нагрузке может сбиться ритм. Иногда — опасно.

— Насколько опасно?

— Настолько, что шутки про лифты я бы отложила.

Он вытирает гель с груди медленно и сосредоточенно, и шутить перестаёт.

— Это лечится?

— Это контролируется. Таблетки, наблюдение, ограничения. Иногда — прибор под кожу, который сам перезапускает сердце, если ритм сорвался.

— Железка в груди? — Он морщится, как от кислого. — Нет.

— Я пока ничего не назначаю. Я говорю, что бывает.

— А я говорю, что не бывает. Не со мной. У меня в марте размещение облигаций и три банка, которые смотрят мне в лицо и ищут слабость. — Он натягивает рубашку. — Таблетки — ладно. Железки — нет.

Классика: мужчина, которому принадлежит полстраны складов, боится маленькой коробочки под ключицей.

Спорить ночью бессмысленно. Я делаю себе пометку — не в карте, а в голове: «Отрицание. Вернуться».

— Арсений Аркадьевич. — Я сажусь напротив. — От чего умер ваш отец?

Он молчит так долго, что я слышу, как гудит аппарат.

* * *

— Сердце, — говорит он наконец. — Так сказали.

Он застёгивает рубашку на все пуговицы, до самого горла.

— Нижний Тагил, металлургический завод. Отец был вальцовщиком. Двенадцатое ноября девяносто седьмого. Ночная смена. Сел на лавку покурить и не встал. Сорок пять лет.

— Вскрытие?

— Написали «острая сердечная недостаточность». Мать так и не поняла, что это значит. Я тоже. — Он смотрит на свои руки. — Мне было пятнадцать.

Я считаю автоматически: двадцать восемь лет назад. И всё это время он ходит по лестнице вверх.

— У кого-то ещё в семье было что-то с сердцем?

— У племянника. — На этом слове голос у него теплеет. — Тимофею в прошлом году нашли. Он играл в хоккей, его взяли в обследование по школьной… по спортивной программе. «Ритм». Ваша клиника. Сняли со льда, сказали — опасно. Он меня полгода ненавидел за то, что я не стал спорить с врачами.

Тимофей. Март прошлого года, худой тринадцатилетний мальчик с брекетами, хоккейная форма, мама в коридоре. Я сама водила датчиком по его груди, сама мерила перегородку, сама писала заключение и сама сказала ему, что большого хоккея не будет. Он тогда плакал, отвернувшись к стене.

— Я ему очень благодарен, — продолжает Баженов. — Вашему мужу. Если бы не его программа, мы бы ничего не знали. Поэтому я здесь. Поэтому фонд.

Его программа.

Внутри что-то медленно поворачивается, как ключ в замке. Значит, вот что «почти закрыто» и вот за что Вадим так берёг свой вечер.

Я могла бы сказать прямо сейчас: «Это моя программа. Это я нашла вашего Тимофея». Но он сидит на кушетке после обморока, с перегородкой в двадцать четыре миллиметра, и смотрит на меня как на человека, который только что объяснил ему смерть отца. Не сейчас и не так — не за счёт пациента.

— А вы? — вдруг спрашивает он. — Вы ведь тоже работаете в этой программе? Вы же диагност.

— Немного, — говорю я.

Немного: протокол, анкеты, три тысячи кардиограмм, ночи над таблицами и статья, которую я переписывала шесть раз.

Он кивает, будто услышал ровно то, что ожидал, и это хуже всего.

— Мне нужно внести обследование в систему, — говорю я и поворачиваюсь к компьютеру.

— Можно без этого?

— Нельзя. Медицинская документация — не опция. Доступ к ней только у врачей, и все они под той же тайной.

Пальцы сами набирают логин и пароль: ноль-три-ноль-девять, день рождения Вари. Я поставила его десять лет назад, когда клиника открылась, и ни разу не сменила.

«Баженов Арсений Аркадьевич. ЭКГ. ЭхоКГ. Заключение».

Я печатаю, а он смотрит мне в спину.

— Дальше что? — спрашивает он.

— Дальше — суточный монитор ЭКГ, МРТ сердца, генетика. И кардиолог, который будет вас вести. Без нагрузок, без лестниц, без героизма. — Я распечатываю заключение и отдаю ему. — Это серьёзно, Арсений Аркадьевич.

Он складывает лист вчетверо и убирает во внутренний карман, к часам. К отцовским, теперь я почти уверена.

— Я вам позвоню, — говорит он у двери.

— Не мне. Кардиологу.

— Я и говорю.

* * *

Без двадцати четыре я открываю дверь своей квартиры.

Тихо, пахнет мандаринами — Варя чистила их перед сном. Няня спит на диване в гостиной, одетая, с телефоном на груди. Я бужу её, плачу за лишние часы и вызываю такси. Она что-то говорит про «Вадим Сергеевич заходил», и я киваю.

Заходил. В прихожей нет его зимних ботинок, на вешалке нет пуховика, в спальне открыт шкаф, и полки пусты, как после переезда, и чемодана тоже нет. Даже зарядку от ноутбука забрал — помнит, где лежит.

А ключи он оставил себе: крючок в прихожей, где всегда висела его связка, пуст. Значит, «потом» он собирается вернуться — не ко мне, а сюда.

На холодильнике под магнитом из Казани висит записка, написанная его круглым уверенным почерком, тем самым, которым он подписывает операционные протоколы:

«Потом поговорим. Не буди Варю».

Пятнадцать лет — и четыре слова на холодильнике.

Я тихо открываю дверь детской. Варя спит поперёк кровати, одна нога на подушке, шлем от хоккейной формы лежит на стуле. Девять лет. Утром ей на тренировку, и утром ей надо будет что-то сказать.

Я закрываю дверь и, не включая свет, иду на кухню.

Телефон в руке загорается сам: Кристина выложила сторис.

Не открывай, Гордеева.

Открываю. Зал «Панорамы», я у микрофона в синем платье, снятая снизу, с неудачного ракурса. Звук обрезан на слове «двое». Подпись белыми буквами: «Когда кто-то не умеет уходить красиво ##». Сорок три реакции, одна из них — от нашего администратора.

Я выключаю экран, кладу телефон на пол экраном вниз и сажусь у стены, за которой спит дочь, — спиной к холодному кафелю, колени к груди.

И только сейчас — не на террасе, не на лестнице и не в машине — меня накрывает.

Я плачу тихо, в рукав, чтобы не разбудить Варю. Коротко, минуты три, не больше, будто кто-то внутри выделил на слёзы время по графику и стоит рядом с секундомером.

Потом я вытираю лицо и считаю пульс: девяносто шесть. Жить можно.

Я встаю, снимаю с холодильника его записку и выбрасываю в ведро, а из сумочки достаю мятую карточку с несказанным тостом.

«За тех, кто строит».

Я прижимаю её тем же магнитом из Казани ровно на то место, где висели его четыре слова. Пусть Варя утром спросит, что это. Это я хотя бы смогу объяснить.

Телефон вибрирует на полу. Рабочий чат клиники — четыре утра, кто там не спит?

Вадим. Файл, отправленный, видимо, не туда — в общий чат вместо личного.

«Презентация_Баженов_финал.pdf».

Я открываю файл. На обложке логотип клиники, сердце из линий и крупные буквы:

«„Ритм“ — авторская программа доктора В. С. Гордеева».

Глава 3. Наёмный врач

На столе главного врача лежит бумага, повёрнутая ко мне лицом.

Вадим подготовился: кофе в его кружке ещё горячий, рубашка свежая, на запястье новые часы. Восемь двадцать утра понедельника, а в восемь тридцать у меня первый пациент.

— Садись, Поля.

Я остаюсь стоять.

Это выписка из реестра. Общество с ограниченной ответственностью «Кардиоклиника Гордеева», участники: Гордеев Вадим Сергеевич — пятьдесят процентов, Гордеева Галина Петровна — пятьдесят процентов. Меня в этом списке нет. Я знала это семь лет, но одно дело знать, и совсем другое — видеть напечатанным, со штампом, в понедельник утром.

— Я хочу, чтобы мы всё сделали спокойно, — Вадим складывает пальцы домиком, как на докладах. — Ты остаёшься заведующей диагностикой. Зарплата плюс двадцать процентов, с января. Твой кабинет, твои аппараты, твой график. Никто тебя не трогает.

— А «Ритм»?

— «Ритм» веду я. Ты консультируешь. Как раньше.

Как раньше, когда я писала протоколы, а он подписывал отчёты.

Июнь две тысячи восемнадцатого: жара, нотариус на Малышева, Варе год и девять месяцев, она спит в коляске у двери. Родственник пациента подал на клинику иск, и юрист говорит, что долю лучше вывести из-под удара. Вадим держит меня за руку: «Временно, Поль. На маму. Суд закончится — вернём». Я подписываю, не дочитав, — мы же семья. Суд закончился через полгода, иск отклонили.

— Когда ты собирался её вернуть? — спрашиваю я.

— Что?

— Мою долю. Ты сказал «временно». Семь лет — это временно?

Вадим отводит взгляд к окну и пару секунд молчит.

— Поля, это формальность. Ты же не уходила из клиники. Какая разница, на ком бумажка?

— Сегодня — разница.

— Сегодня ничего не меняется. — Он подталкивает выписку ко мне. — Я предлагаю тебе хорошие условия. Подумай.

Я не беру бумагу. Пусть лежит где лежит, повёрнутая ко мне, как счёт в ресторане за то, чего я не заказывала.

— Это всё?

— Нет. — Он чуть медлит. — На встречах с Баженовым тебя не будет. Ему не нужна… драма. После твоего тоста — тем более.

— Драма, Вадим, — это когда муж уходит к маркетологу на юбилее клиники. А тост был короткий.

— Поля.

— И квартира?

— Квартиру пока не трогаем. Живите. — Он великодушно разводит руками. — Я же не зверь.

«Пока» — второе его любимое слово после «временно».

Плюс двадцать процентов. Я считаю в уме, как считаю пульс, и выходит, что двадцать процентов — цена того, чтобы я молча стояла за ширмой, пока он показывает инвестору мои графики. Десять лет моей работы помещаются в слово «участники», и меня среди них нет. Наёмный врач — вот кто я в клинике, которую придумала на кухне.

Две тысячи четырнадцатый. Вадим ещё оперирует в областной, приходит за полночь, злой на начальство, а я рисую на обороте квитанции за свет: приём, диагностика, рентгеноперационная «потом, когда разбогатеем». Он смеётся: «Ты сумасшедшая, Поль». Через год он сам выбирает вывеску с его фамилией — «так солиднее». Я тогда согласилась: фамилия ведь и моя тоже.

* * *

— Тогда объясни мне презентацию, — говорю я.

Он не делает вид, что не понял, и это даже хуже.

— Ты её видела? — Он морщится. — Я отправил не в тот чат. Удалил через минуту.

— Через минуту я уже не спала.

— Поля. «Ритм» — продукт клиники. — Он встаёт и обходит стол, а голос становится мягким, как на консультации, когда пациенту сообщают неприятное. — Аппараты чьи? Клиники. Ставки медсестёр — клиники. Выезды в школы, бензин, расходники — клиники. Без моих денег и моего оборудования твой протокол так и лежал бы в столе.

— Без моего протокола твоё оборудование снимало бы кардиограммы пенсионерам.

— Не начинай.

— Статья в журнале, двадцать четвёртый год. Первая фамилия — моя. Вторая — Штерн. Твоей там нет вообще, Вадим. Ты отказался, помнишь? Сказал, что «не подписываешься под Полиными таблицами».

— Статьи — это твоё хобби. — Он пожимает плечами. — Инвестор не читает статьи. Инвестор смотрит, кто руководит.

— На обложке написано «авторская программа доктора В. С. Гордеева». — Я слышу, как повышается голос, и не останавливаю его. — Автор, Вадим. Не руководитель клиники. Автор.

Я выхожу из кабинета, и он идёт за мной: не может позволить мне оставить за собой последнее слово.

В коридоре уже люди — администратор Лена за стойкой, две медсестры у процедурного, пациент в бахилах на диване, мужчина с газетой.

— Это маркетинг, Поля, — говорит Вадим громче, чем нужно, — для публики. — И я понимаю, что это сказано для них, для стойки и дивана. — Кристина делала макет. Не придирайся к словам.

Кристина появляется как по вызову — с кольцевой лампой под мышкой и в белом халате поверх платья, чтобы снимать утренний обход главного врача. Услышав своё имя, она останавливается, смотрит на Вадима, потом на меня и медленно опускает лампу.

— Я делала по тексту, который вы прислали, Вадим Сергеевич, — говорит она тихо.

Вадим даже не поворачивается к ней.

Я оглядываю коридор. Лена утыкается в монитор, медсёстры вдруг очень заняты журналом, мужчина на диване переворачивает газету. Свидетелей здесь много, а сочувствующих нет ни одного.

Ладно.

— Кристина, — говорю я ровно, — пришлите мне, пожалуйста, исходник макета. С текстом, который вам прислал Вадим Сергеевич.

Она моргает, и телефон в её руке чуть вздрагивает.

— Не смей, — бросает Вадим, но не мне, а ей.

— Я… потом, Полина Андреевна, — шепчет Кристина. — Можно потом?

Можно. Я запомню, что у неё тоже бывает «потом».

Только Петрович, наш рентгенлаборант, проходя мимо, едва заметно кивает мне и исчезает за дверью рентгеноперационной.

* * *

Я возвращаюсь в свой кабинет и закрываю дверь. Аппарат, кушетка, на подоконнике кактус, который мне подарили ординаторы в первый год, на стене расписание — восемнадцать пациентов до шести.

Дверь открывается без стука: Зоя входит, закрывает её за собой и прислоняется к ней спиной.

— Весь второй этаж уже в курсе, — сообщает она. — Лена пишет в общий чат, но в другой, без тебя.

— Есть чат без меня?

— Теперь есть. — Она смотрит на меня внимательно, по-медсестрински, как на пациента после наркоза. — Ну?

— Он предложил остаться. Заведующей. С прибавкой.

— А «Ритм»?

— «Ритм» его.

Зоя молчит, а потом говорит очень просто:

— Уходим?

Не «уходишь», а «уходим». У неё сын в шестом классе и бывший муж, который платит алименты через раз, так что эта работа нужна ей больше, чем мне.

— Зоя, тебе нельзя…

— Мне нельзя смотреть, как он тебя доит. — Она скрещивает руки. — Я здесь восемь лет, потому что ты здесь. Найдём другое место. У тебя лучшие глаза на УЗИ в этом городе, это все знают. Кроме главного врача.

Я неожиданно для себя смеюсь — коротко — и беру лист бумаги.

«Главному врачу ООО „Кардиоклиника Гордеева“ В. С. Гордееву. Прошу расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон…»

Почерк выходит ровный, рука не дрожит — хорошая, твёрдая рука. Тридцать восемь лет, кандидат наук, пятнадцать лет стажа — и первое заявление об уходе в жизни.

Зоя забирает у меня ручку и пишет второе заявление, слово в слово, только фамилия другая.

Когда мы приносим оба листа, Вадим поднимает глаза на неё.

— Ильина, вы-то куда?

— Туда, где автора не путают с маркетингом, Вадим Сергеевич.

Он хмыкает и подписывает её заявление первым, а моё следом. На всё уходит две минуты: сегодняшним числом, без отработки, без разговора. Он даже не пытается меня отговорить, и в этом вся правда, которую я не хотела видеть: ему не нужен врач Гордеева, ему нужна программа без Гордеевой.

Вещей у меня немного: кружка с трещиной, кактус, фонендоскоп, два халата. Под старыми заключениями в ящике стола лежит синяя папка — протокол этического комитета от четырнадцатого марта две тысячи двадцать второго года. «Одобрить проведение исследования… Руководитель исследования — П. А. Гордеева». Подпись председателя, печать и моя подпись синей ручкой. Это бумажный оригинал, выданный руководителю исследования, то есть мне.

Я кладу папку в сумку первой, на самое дно.

— Куда пойдём-то? — Зоя заглядывает мне через плечо. — В поликлинику, к бабушкам с давлением?

— Позвоню Штерн. Лидия Марковна мне ещё за диссертацию должна. — Я выдерживаю паузу. — Шучу. Это я ей должна.

— Значит, позвонишь и будешь должна вдвое. — Зоя забирает у меня кактус. — Нормальный план. Мне нравится.

В отделе кадров Ольга Ивановна забирает мой пропуск.

— А доступ в медицинскую систему отключать? — спрашивает она и тут же сама отвечает: — Вадим Сергеевич сказал пока не трогать. Вдруг ваши старые заключения понадобятся.

Мне всё равно, пусть хоть табличку на дверь повесят. Я выхожу на улицу, и мороз бьёт в лицо, как пощёчина, которую я так и не дала мужу.

* * *

Дома я раскладываю халаты на кровати. Их четыре, все белые и все мои; один остался ещё с ординатуры — застиранный до прозрачности, с фамилией «Гордеева», которую Зоя когда-то вышила на кармане. Я складываю их в коробку ровно, рукав к рукаву, как в операционной складывают бельё.

В нагрудном кармане последнего что-то звякает.

Кольцо — обручальное, гладкое, жёлтое, чуть стёртое с одного края. Я снимала его перед каждым УЗИ из-за геля, датчика и перчаток и клала в карман халата, а в пятницу забыла надеть обратно. Три дня без кольца — и никто не заметил, даже я сама.

Оно лежит у меня на ладони, удивительно лёгкое для пятнадцати лет. Выбросить, отдать ему, положить в шкатулку как трофей? Ни то, ни другое, ни третье.

Я иду в прихожую и опускаю кольцо в карман зимнего пальто. Пусть лежит там, где холодно, пока я не придумаю, что с ним делать.

Из детской выглядывает Варя — в пижаме с хоккейными шайбами и с тетрадью по русскому под мышкой.

— Мам, а папа когда с дежурства? Он обещал проверить диктант.

Два дня я говорю ей «папа на дежурстве», два дня вру.

— Давай я проверю, — говорю я. — А про папу поговорим завтра. Обещаю.

Она смотрит на меня слишком долго для девятилетнего человека, потом кивает и протягивает тетрадь. У холодильника она останавливается и тычет пальцем в мою карточку под магнитом.

— А это что? «За тех, кто строит». Ты строить будешь?

— Это тост. Я его в пятницу не сказала.

— Почему?

Потому что строить было нечего, а всё, что я строила, оказалось записано на других.

— Скажу, когда построю что-нибудь своё, — отвечаю я.

— Типа домик? — Варя морщит нос.

— Типа того. Только побольше.

Она пожимает плечами — взрослые странные — и уходит делать вид, что учит словарные слова.

В девять вечера звонит Галина Петровна. Свекровь, тридцать лет директор школы на Уралмаше, семьдесят лет, прямая спина и голос, от которого у взрослых мужчин до сих пор холодеет в животе. Она звонит мне два раза в год, на день рождения и на Новый год, а до Нового года ещё девять дней.

— Полина, — говорит она без «здравствуй». — Я всё знаю. Вадим мне сообщил. По телефону, если тебе интересно. Сорок четыре года мужику, а он мне сообщает по телефону.

Я молчу и жду удара: мать всегда на стороне сына, это я тоже знаю из практики.

— Завтра в десять я у вас, — продолжает она тоном, каким объявляют педсовет. — Пирог будет с капустой.

Она выдерживает паузу.

— А разговор — без сахара.

Короткие гудки.

Глава 4. Свекровь с пирогом

— Папа будет жить отдельно.

Я говорю это в семь сорок утра, между кашей и шапкой. Время выбрано нарочно: не за ужином и не перед сном, а утром, когда впереди целый день и от любой новости можно сбежать в школу.

Варя замирает с ложкой у рта.

— В смысле — отдельно?

— В другой квартире. Мы с папой больше не будем жить вместе.

Я репетировала эту фразу полночи — без «папа плохой», без «так бывает у взрослых» и без «он нас бросил», хотя именно это и стоит у меня в горле.

— Почему?

— Потому что папа полюбил другую женщину.

Варя очень аккуратно кладёт ложку рядом с тарелкой. Так она делает, когда злится по-настоящему, — это я знаю лучше, чем её пульс.

— Ты его выгнала.

— Варь…

— Ты его выгнала! — Голос срывается вверх, на тот тонкий звон, от которого у меня всегда сжимается живот. — Ты в пятницу ушла в красивом платье, а потом он забрал вещи! Я видела, шкаф пустой! А ты говорила — дежурство!

Она вылетает из-за стола, хлопает дверью ванной и щёлкает задвижкой, а я остаюсь перед двумя тарелками каши, одна из которых недоеденная.

Ладно.

Я выхожу в коридор и сажусь на пол у двери ванной, спиной к косяку. Внутри шумит вода: Варя включила её, чтобы я не слышала, как она плачет. Девять лет — и уже знает этот приём.

— Варя. Я не выгоняла папу. Это он решил уйти. — Я перевожу дыхание. — Но в одном ты права. Я тебе врала. Два дня говорила «дежурство». Это было нечестно.

Вода шумит.

— Я больше не буду. Никаких «папа на дежурстве», «папа на операции», «папа занят». Если папа не придёт — я так и скажу: не придёт. Договорились?

Ответа нет, только вода. Потом щёлкает задвижка, дверь приоткрывается на ширину ладони, и я вижу красный нос и мокрые ресницы.

— А меня он тоже бросит?

Вот он, вопрос, от которого не спасают ни кандидатская, ни пятнадцать лет стажа.

— Он не тебя бросил, — говорю я. — Он ушёл от меня. Ты его дочь. Это навсегда.

— А другая женщина — она кто?

Не врать.

— Кристина. Она работает у папы в клинике.

— Которая видео снимает? — Варя морщит лоб. — Она мне на день рождения стикеры дарила. С котиками.

Стикеры с котиками, сентябрь, день рождения Вари. Я тогда ещё подумала, как мило, что маркетолог запомнила дату. Запомнила, конечно.

Варя долго смотрит на меня и, кажется, не верит до конца, но всё-таки выходит.

— Шапку дай, — бурчит она. — Опоздаем.

* * *

Ровно в десять звонят в дверь: Галина Петровна никогда не опаздывает. Тридцать лет директором школы — это уже не профессия, а диагноз.

На пороге она стоит с прямой спиной, седым каре и очками на цепочке, держа в руках противень, завёрнутый в полотенце. Пахнет капустой и сливочным маслом.

— Здравствуй, Полина.

— Здравствуйте, Галина Петровна.

Я жду удара. Семь лет назад я подарила этой женщине половину клиники, а в пятницу её сын ушёл к девочке на восемнадцать лет моложе. Я видела сотни матерей в больничных коридорах, и ни одна не сказала про сына плохого слова.

Она проходит на кухню, ставит пирог, снимает пальто, садится и достаёт из сумки очки для чтения, хотя читать здесь нечего.

— Чай есть?

Я ставлю чайник — к счастью, рукам есть чем заняться.

— Он мне позвонил в субботу, — говорит она мне в спину. — В субботу, Полина. В одиннадцать утра. «Мама, я влюбился». Взрослый мужик. Хирург. Кандидат наук. «Мама, я влюбился». — Она хлопает ладонью по столу так, что звякают чашки. — Я его не так воспитывала!

Я оборачиваюсь: Галина Петровна смотрит не на меня, а в окно, на голые берёзы во дворе, и губы у неё сжаты в одну линию.

— Я тридцать лет объясняла чужим детям, что поступки имеют последствия. А своему, выходит, не объяснила.

— Галина Петровна…

— Не надо меня утешать. Я не за этим пришла. — Она разворачивается ко мне. — Я пришла сказать про клинику.

Сейчас будет главное.

— Доля, которая на мне. — Она снимает очки и складывает их. — Я знаю, что она по совести твоя. Я тогда подписала, потому что Вадим попросил. Сказал — временно.

— Он и мне так сказал.

— Он всем так говорит. — Она горько усмехается. — Но вернуть её тебе сейчас я не могу.

Я молчу и жду продолжения.

— Он мой сын, Полина. Если я сейчас пойду против него — я его потеряю. Совсем. Он не простит. — Она смотрит мне прямо в глаза, по-учительски, как смотрят на ученика, которому ставят четвёрку вместо пятёрки и объясняют почему. — Дай мне время.

Время — опять это «временно».

— Конечно, — говорю я. — Временно.

Она вздрагивает: услышала и поняла. Секунду мы смотрим друг на друга — две женщины, которых один и тот же мужчина держал за руку и уговаривал словом «временно».

— Внучку из школы по средам забирать могу, — говорит она наконец уже другим голосом. — И на хоккей возить. У меня проездной.

Не враг, но и не союзник — свекровь, которая принесла пирог и не принесла справедливости.

Уже в прихожей, застёгивая пальто, она останавливается у холодильника и читает мою карточку под магнитом.

— «За тех, кто строит». — Она поднимает бровь. — Это ты ему писала? На юбилей?

— Клинике.

— Клинику вычеркни. — Она поправляет очки. — Оставь как есть. Это про тебя, а не про них.

И уходит, не дав мне ответить.

Я режу пирог. Он горячий, тесто тонкое, а начинка — как в детстве у бабушки, и почему-то именно это обиднее всего.

* * *

Ледовая арена «Уральских ястребов» пахнет резиной, холодом и детским потом. Я сижу на трибуне в пуховике, а Варя катается внизу в форме на размер больше — «на вырост, чтоб на два сезона хватило», как я тогда сказала.

В девчачьей группе двенадцать человек от восьми до одиннадцати лет. Тренер Сергей Михайлович гоняет их вдоль борта, свистит и хлопает клюшкой по льду, а рядом с ним работает помощник — долговязый лохматый подросток в толстовке с эмблемой школы и с брекетами. Он расставляет фишки, поправляет девочкам щитки и ловит тех, кто падает.

Я его знаю. Это тот самый мальчик с кушетки, который плакал лицом к стене, — Тимофей Баженов.

Он вырос сантиметров на десять, плечи стали шире, голос ниже, но движения остались прежними — быстрыми, точными, хоккейными. Только он больше не играет, а ставит фишки.

В перерыве он подъезжает к борту за водой и замечает меня. Секунду смотрит, а потом лицо у него меняется так, как меняется лицо у человека, встретившего на улице своего стоматолога.

— Вы та, — говорит он вместо «здравствуйте». — Которая меня со льда сняла.

— Здравствуй, Тимофей.

— Помните, значит.

— Я всех помню. Особенно тех, кто на меня потом полгода злится.

Он фыркает и отворачивается, пьёт воду и смотрит на лёд, где Варя пытается развернуться и садится на попу.

— Это ваша? — спрашивает он, не поворачиваясь.

— Моя.

— Кривые ноги на развороте. Ставить надо шире. — Он медлит. — Но смелая.

— Спасибо. Наверное.

Мы оба замолкаем; на льду свистит Сергей Михайлович.

— Дядя думает, что меня спас Гордеев, — вдруг говорит Тимофей тихо, в бутылку. — Главврач ваш. Он ему денег хочет дать. На программу.

Я держу лицо, как на консультации.

— А ты что думаешь?

Он наконец поворачивается ко мне.

— Я помню, кто мне датчиком по рёбрам водил. — Голос грубый, но глаза нет. — И кто сказал правду, а не «посмотрим, может, перерастёшь». Мне тогда три врача говорили «посмотрим». А вы сказали — всё. Я вас ненавидел.

— Знаю.

— А потом прочитал про это. Про внезапную смерть у спортсменов. — Он сжимает бутылку, и пластик хрустит. — Там пацан один, мой ровесник, в другом городе на тренировке упал. Не встал.

Мне нечего на это ответить, поэтому я спрашиваю о другом:

— Как ты сейчас? Наблюдаешься?

— Таблетки пью. Раз в полгода эхо. Мама следит, как овчарка. — Он дёргает плечом. — На лёд можно, но не играть. Вот, фишки ставлю. Мелких учу.

— Тебе нравится?

Он смотрит на лёд, где девочки в огромных шлемах гоняются за шайбой, как воробьи за хлебом.

— Нормально, — говорит он, и это «нормально» звучит как «да». — Короче, дядя не прав. Я ему сказал. Сегодня утром. Он не поверил.

Он отталкивается от борта и уезжает к своим фишкам — прямой, колючий, пятнадцатилетний. Я смотрю ему вслед и впервые за четыре дня чувствую внутри что-то тёплое.

* * *

Варя выходит из раздевалки красная и взмокшая, со шлемом в руке, и глаза у неё горят.

— Мам, ты видела? Я почти развернулась! Тимофей сказал, ноги шире!

— Видела. Ты молодец.

— Сергей Михайлович сказал, в январе будет настоящий матч. С другой командой! — Она прыгает на месте. — Меня, может, поставят. Если буду стараться.

— Будешь.

— Мам. — Она вдруг останавливается и серьёзно смотрит на меня снизу вверх. — А папа придёт? На матч. Чтоб посмотрел с трибуны.

Утром было «ты его выгнала», а вечером — «а папа придёт». Девять лет: обида и надежда в одной хоккейной сумке. А я обещала не врать.

— Я не знаю, Варь. Я ему скажу. А дальше — он сам.

— Он придёт, — уверенно говорит она. — Это же матч.

Я достаю телефон прямо у раздевалки, при ней, и пишу Вадиму: «В январе у Вари первый матч. Она спрашивает, придёшь ли ты». Отправляю и показываю ей экран.

— Вот. Сказала.

Ответ приходит, пока мы спускаемся по лестнице к выходу:

«Посмотрим».

Посмотрим — как те три врача, которые обещали Тимофею, что он, может быть, перерастёт.

Варя заглядывает в экран, читает по слогам и ничего не говорит, только крепче прижимает к себе шлем.

Я беру её сумку, тяжёлую от щитков, коньков и клюшки, и мы выходим из арены в синий морозный вечер. Снег скрипит под ногами, горят фонари.

У выхода стоит тот самый чёрный внедорожник, тёплый и пахнущий кожей, а рядом с ним — высокий мужчина в тёмном пальто, без шапки, с седым виском и старыми часами на стальном браслете. Он ждёт племянника. Тимофей выходит следом за нами, видит машину, видит меня — и почему-то ухмыляется.

Но Баженов смотрит не на Тимофея, а на меня, и делает шаг навстречу. Варя дёргает меня за рукав:

— Мам, это кто?

— Знакомый твоей мамы, — отвечает он сам, глядя на Варю серьёзно, как на взрослую. — И дядя вот этого лохматого.

— Сам лохматый, — бурчит Тимофей и закидывает сумку в багажник.

Варя прищуривается на Баженова и оценивает его взглядом, каким Галина Петровна смотрит на педсовете.

— Вы хоккеист?

— Был. Давно. Нос сломал. — Он трогает горбинку. — Потом пришлось работать.

Варя одобрительно кивает: сломанный нос — это аргумент. Баженов переводит взгляд на меня, и лёгкость уходит из его лица.

— Полина Андреевна. — Голос спокойный, но в нём что-то натянуто, как струна. — Тимофей говорит, что его нашли вы. Не ваш муж. Вы.

Он ждёт ответа, а я молчу.

— Тогда почему мне три месяца рассказывают обратное?

Глава 5. Условия пациента

Лифт поднимает меня на тридцатый этаж за сорок секунд, и уши закладывает, как в самолёте.

Там, у арены, я сказала ему только одно: «В пятницу. С документами». Он кивнул, забрал Тимофея и уехал, а я три дня собирала папку и репетировала разговор, как когда-то репетировала защиту.

Двери разъезжаются: стекло, бетон, светлое дерево. На стене висит карта страны, усыпанная красными точками терминалов, складов и узлов от Екатеринбурга до Красноярска, а под ней надпись — «Северный терминал».

Помощница в сером костюме ведёт меня по коридору без вопросов и без улыбки. Здесь, похоже, все учились у его водителя.

Он стоит у окна без пиджака, с закатанными рукавами. Под нами лежит город в морозной дымке, Исеть подо льдом, крыши.

— Я поднялся на лифте, — говорит он вместо «здравствуйте». — Отчитываюсь.

— Похвально. А кардиолог?

— Об этом потом.

Он садится за стол, я — напротив, и кладу папку между нами.

— Тогда начнём с того, о чём вы спросили у арены.

Я раскладываю бумаги по порядку и без комментариев, как раскладывают результаты анализов перед пациентом. Сначала — копия решения этического комитета от четырнадцатого марта двадцать второго года: «Руководитель исследования — П. А. Гордеева».

— Оригинал у меня, — говорю я. — В руки не дам. Могу показать. — И показываю: синяя печать, синяя подпись. Он смотрит, не трогая.

Потом статья в журнале за двадцать четвёртый год — «Скрининг юных спортсменов на риск внезапной сердечной смерти: трёхлетний опыт». Авторы: Гордеева П. А., Штерн Л. М. и ещё трое ординаторов, которые ездили со мной по школам. Гордеева В. С. там нет.

И наконец обобщённые данные пилота: три тысячи восемьсот двенадцать детей, шесть спортивных школ, сорок один направлен к специалистам, девять серьёзных диагнозов. Без имён и дат рождения, только цифры.

— Персональные данные у клиники, — объясняю я. — Я их не брала и брать не буду. Это — то, что опубликовано. Что может прочитать любой.

Он читает медленно, страницу за страницей, а я жду и смотрю на его руки: широкие ладони, короткие ногти, на правой — белый шрам поперёк костяшек. Рука человека, который начинал с погрузки.

Наконец он откладывает последний лист.

— Девять, — говорит он. — Тимофей — один из девяти?

— Да.

— Вы знали это в ту ночь. В кабинете. Когда я благодарил вашего мужа.

— Знала.

Врать ему я не собираюсь: хватит в этой истории одного человека, который врёт.

— И промолчали.

— Вы час назад лежали на бетоне, с перегородкой в двадцать четыре миллиметра. — Я пожимаю плечами. — Это было не время для моих обид.

Он смотрит на меня долго, как смотрят на человека, которого пытаются заново оценить, когда цифра никак не сходится.

— Меня обманули, — говорит он ровно, без злости, будто констатирует курс валют. — Гордеев три месяца рассказывал мне про «свою» программу. Показывал «свои» графики. Я поверил, потому что не проверил. Это моя ошибка.

— Значит…

— Значит, ничего. — Он поднимает руку, останавливая меня. — Полина Андреевна, я не меценат. Фонд «Опора» финансирует результат. А результат — это школы, оборудование, люди, данные. Всё это сейчас у клиники. Вместе с названием.

— Название — это просто слово.

— Для вас. Для моих юристов — актив. — Он откидывается на спинку кресла. — Вы пришли доказать, что вы автор. Доказали. Я верю. Но автор без инфраструктуры — это человек с хорошей статьёй.

Хороший удар, честный. Я бы так же сказала пациенту, который гордится своим давлением на таблетках.

* * *

— Тогда давайте о другом, — говорю я и закрываю папку. — Шесть дней назад я дала вам заключение. Что вы сделали?

Впервые за весь разговор он не знает, что ответить.

— Заключение у меня.

— В кармане. Я видела, куда вы его положили. К часам. — Я наклоняюсь вперёд. — Холтер? МРТ? Генетика? Кардиолог?

— У меня была неделя закрытия года. Банки, отчёты, совет директоров…

— У вас была неделя, в которую вы могли не проснуться.

Он сжимает челюсть, и под кожей дёргается желвак.

— После праздников, — говорит он. — Десятого января. Обещаю.

— Тимофей прошёл всё в тринадцать лет. Холтер, МРТ, генетику. Плакал, злился, ненавидел меня — и прошёл. Без единого «после праздников». — Я смотрю ему в глаза. — Вы хотите быть взрослым, у которого кишка тоньше, чем у племянника?

Это удар ниже пояса, и мы оба это знаем. Он впервые за разговор опускает глаза на свои руки.

— Пока вы не пройдёте обследование, — говорю я, — я не буду обсуждать ни фонд, ни программу, ни моего мужа. Мне не интересны деньги человека, который может умереть до их перевода.

Где-то за стеной звонит телефон, и его никто не берёт.

— Вы всегда так ведёте переговоры? — спрашивает он наконец.

— Я не веду переговоры. Я назначаю обследование.

Он вдруг усмехается, встаёт и подходит к окну, засунув руки в карманы, чтобы смотреть вниз, на город.

— Хорошо, — говорит он, не оборачиваясь. — Холтер. МРТ. Генетика. Всё, что скажете.

Слишком легко, думаю я, глядя ему в спину.

— Но с условием.

Конечно: без условий он не умеет.

— Моим врачом будете вы, — он поворачивается. — Лично. Не какой-то кардиолог из списка, которого мне подберёт помощница. Вы. И без огласки: ни клиник с моей фамилией на ресепшене, ни карт, которые прочитает кто попало.

— Нет.

Он этого не ожидал — видно по тому, как он вынимает руки из карманов.

— Почему?

— Потому что «лично» и «без огласки» — это не врач. Это прислуга с фонендоскопом.

— Я плачу. — Голос становится жёстче. — Значит, условия выбираю я.

— Вы платите за обследование, Арсений Аркадьевич. Условия ставит ваша перегородка. Я только перевожу.

* * *

Он поднимает бровь и ждёт продолжения. Я тоже встаю: сидеть, когда он стоит у окна, неудобно, как отвечать на экзамене снизу вверх.

— Вот мои условия, — говорю я. — Первое. Официальный договор на медицинское наблюдение. С подписями, с печатью, с медицинской картой, которую ведут по правилам. Тайна — да. Подполье — нет.

— Принято.

Он соглашается без паузы и без торга, и это настораживает больше, чем торг.

— Второе. Оплата — по прейскуранту той клиники, где я буду работать. Не конверт. Не «сколько скажете». Не подарки.

— Где вы будете работать?

— Пока не знаю. — Я выдерживаю его взгляд. — С понедельника — без работы. Но не у Гордеева.

Он открывает рот, и я вижу, что он сейчас предложит — должность, кабинет, зарплату, всё что угодно.

— Нет, — говорю я раньше, чем он успевает. — Работу я у вас не возьму.

— Я ещё ничего не предложил.

— Вы собирались. Если я буду у вас на зарплате, всё, что я скажу про ваше сердце, вы будете слушать как подчинённую. А мне нужно, чтобы вы слушали как врача.

Он молчит, потом медленно кивает.

— Третье?

— Третье. Я имею право говорить вам неприятное. Всегда. Без вашего «об этом потом».

И тут он смеётся — не вежливо и не по-деловому, а по-настоящему, запрокинув голову, так, что дрожит стекло в раме на стене. Помощница заглядывает в дверь и тут же исчезает.

— Полина Андреевна, — говорит он, отсмеявшись. — Мне со времён первого грузовика никто не ставил условий. Банки ставили, налоговая ставила. Люди — нет.

— Привыкайте.

— Холтер завтра. — Он садится и берёт ручку. — Напишите, куда. — И, не поднимая глаз, добавляет: — А вы? Без работы. На что жить будете?

— У меня есть диплом, руки и девочка, которой нужна хоккейная форма на вырост. — Я пожимаю плечами. — Этого обычно хватает, чтобы не сидеть дома.

Он хмыкает и больше не спрашивает. Правильно.

Я пишу на его фирменном блокноте адрес лаборатории, где работает моя бывшая однокурсница: завтра суббота, но они работают. Пусть носит монитор сутки и спит с проводами, пусть хоть раз за двадцать восемь лет посмотрит, что у него внутри.

Он отрывает листок и задерживает его в пальцах.

— Почему вывообще согласились? После всего, что вам устроил ваш муж. Могли бы послать меня вместе с его сделкой.

— Потому что вы упали на лестнице, а я врач. — Я застёгиваю сумку. — Остальное — потом.

Он узнаёт своё «потом» и усмехается краем рта.

* * *

Я уже беру папку, когда он говорит:

— Сядьте. Ещё не всё.

Я сажусь.

— Гордеев подал в фонд заявку, — продолжает он. — Программа скрининга на три года, вся область. Сто восемьдесят миллионов. Клиника — оператор. Инвестиционный комитет должен был одобрить её в январе.

— Должен был?

— Теперь не одобрит. Пока я не буду уверен, что финансирую того, кто это придумал. — Он постукивает ручкой по столу. — Поэтому так. Вы готовите собственный проект. Гордеев — свой. Двадцатого мая — комитет фонда. Два проекта, одна программа. Решать буду не я — эксперты, которых я не знаю лично.

Я смотрю на него и понимаю, что он не шутит.

— Это конкурс.

Слово звучит странно, будто мне снова двадцать два и я стою перед комиссией с дипломом в руках, только теперь комиссия соберётся по мою душу и по душу Вадима одновременно.

— Это честно. — Он пожимает плечами. — Вы же хотели, чтобы было честно? Вы это со сцены сказали. «Правда всегда выходит наружу». Вот и проверим.

Значит, он слышал каждое слово и запомнил. Мужчина, который запоминает чужие тосты, — это или очень хорошо, или очень опасно.

В голове щёлкает калькулятор. Работы нет. Школ тоже нет: договоры заключены с клиникой. Нет данных — база у Вадима, и нет даже названия: «Ритм» остаётся вывеской на чужой двери. Зато есть протокол, статья, руки и голова. И есть Вадим, который будет делать то же самое, только с деньгами, аппаратами и пресс-службой в лице Кристины.

— У меня нет ни работы, ни данных, ни названия, — говорю я вслух.

— У вас есть почти пять месяцев и протокол. — Он встаёт и протягивает руку через стол. — Это больше, чем было у меня, когда я покупал первый грузовик.

Я смотрю на его ладонь, на шрам поперёк костяшек.

— Подождите. — Я пока не беру его руку. — Есть проблема.

— Какая?

— Я ваш врач. И я участник конкурса вашего фонда. Это конфликт интересов. Меня этому на первом курсе учили.

Он медленно опускает руку.

— Поэтому решать буду не я, — говорит он. — Эксперты. А вы — мой врач, а не мой подрядчик. Одно с другим я смешивать не собираюсь.

— Вы — нет. А другие смешают. — Я думаю о Вадиме, о Кристине с её камерой, о Лене за стойкой и чате без меня. — Поэтому так: если когда-нибудь одно начнёт мешать другому, я уйду. Как врач. Не как участник.

Он смотрит на меня с тем же выражением, с каким смотрел из зала после тоста.

— Договорились, — говорит он и снова протягивает руку.

Месть, которую я представляла себе ночами, была совсем другой — громкой, с криками, разбитой посудой и Вадимом на коленях. А эта тихая, с протоколами, школами и экспертами, и нравится мне гораздо больше.

— Двадцатое мая, — говорю я и пожимаю его руку, сухую, тёплую и крепкую.

Он повторяет дату вслух, как подпись под договором.

Я выхожу из кабинета с папкой под мышкой, и ноги несут меня сами: лифт, тридцать этажей вниз, уши снова закладывает.

Внизу, у турникетов, приходит сообщение.

Вадим.

«Поздравляю. Баженов мне только что позвонил. Ты объявила мне войну, Поля. Проверь почту».

Глава 6. Чужое слово

— Три фразы, Полина. Больше мне не нужно.

Лидия Марковна сидит за столом, заваленным диссертациями. Книги в её кабинете стоят до потолка и ещё в два ряда на подоконнике. Мужской пиджак, седой ёжик, очки на лбу — двенадцать лет назад она точно так же требовала от меня три фразы про мою кандидатскую.

Я считаю до трёх и начинаю.

— Муж ушёл к маркетологу. Программу «Ритм» он выдал инвестору за свою. Я уволилась.

— Хорошо. — Она даже не моргает. — Теперь четвёртую. Что ты собираешься делать?

— Уничтожить его.

Это вырывается само, и я сама слышу, как оно звучит: как у девочки из сериала, а не у кандидата наук.

Лидия Марковна снимает очки со лба и кладёт их на стопку бумаг.

— Уничтожить, — повторяет она. — Постами? Интервью? Судом?

— Я ещё не решила.

— Значит, решу я. — Она тянется к телефону и листает контакты. — В городском консультативно-диагностическом центре нужен кардиолог. Главный врач — мой бывший ординатор. С двенадцатого января. Зарплата бюджетная, аппарат УЗИ старше твоей дочери, очередь — пенсионеры с талонами.

Я быстро прикидываю: бюджетная зарплата — это треть от того, что я получала у Вадима, а может, и меньше. А ведь есть хоккейная форма, коммуналка и кредит за машину.

— Лидия Марковна, я…

— Не перебивай. Второе. Ты пишешь новый протокол. С нуля. Без единой цифры из клиники — они тебе больше не принадлежат. Я буду научным руководителем и сама отнесу его на этический комитет университета. В январе.

Пальцы сами находят запястье: восемьдесят восемь — многовато для женщины, которой только что дали работу.

— Вы же понимаете, что он будет против? Он позвонит ректору. Он всем звонит.

— Пусть звонит. — Она пожимает плечами. — Ректор у меня в студенческом кружке сидел. Списывал.

Из меня вырывается смешок — короткий, в нос, как чих.

Она ждёт, пока я успокоюсь, и наклоняется вперёд, а голос становится тише и твёрже.

— Послушай меня, Полина. Победить его можно только цифрами. Он красиво говорит, у него хорошие руки и дорогая стрижка. Зал он возьмёт. А цифры у тебя. Только у тебя. Если, конечно, ты их соберёшь, а не будешь тратить ночи на его подружку в интернете.

— Сколько нужно? — спрашиваю я. — Чтобы эксперты стали читать.

— К маю — свои дети. Свои записи, свои находки. Хотя бы пятьсот обследованных. Меньше — положат в папку «интересно».

— Пятьсот. За четыре месяца. Без школ, без аппаратов, без людей.

— Значит, найдёшь школы, аппараты и людей. — Она даже не повышает голос. — Ты в двадцать втором начинала с одного кабинета и Зоиного термоса.

Я опускаю глаза, потому что вчера в два часа ночи трижды пересмотрела сторис Кристины.

— Откуда вы знаете?

— Я тридцать лет руковожу аспирантами. — Она надевает очки обратно на лоб. — Все страдают одинаково. Ну что, звоню?

Ладно. Ладно, Гордеева.

— Звоните.

Она набирает номер, не сводя с меня глаз, будто боится, что я передумаю, пока идут гудки.

* * *

Адвокат Инна Рябова оказывается маленькой женщиной в огромных очках, а портфель у её стола такой тяжёлый, что на ковре под ним вмятина.

— Почту открывали? — спрашивает она вместо приветствия.

— Открывала.

Я разворачиваю к ней телефон. Письмо пришло в пятницу вечером, пока я ехала в лифте вниз с тридцатого этажа, — от юриста клиники, с копией Вадиму. «Уведомляем, что обозначение "Ритм" является зарегистрированным товарным знаком ООО "Кардиоклиника Гордеева". Просим воздержаться от его использования в публичных выступлениях, заявках и публикациях».

Инна Сергеевна читает и хмыкает.

— Вежливо. Обычно пишут «в противном случае». Значит, ещё боятся.

Она достаёт из портфеля блокнот и рисует на листе четыре квадрата — так я рисую пациентам камеры сердца.

— Первое. Развод. — Она ставит в квадрат крестик. — Только через суд. У вас несовершеннолетняя дочь, через ЗАГС не получится, даже если оба согласны. Определят, с кем живёт ребёнок, порядок общения, алименты.

— Варя останется со мной.

— Скорее всего. Если вы не начнёте пить и бить посуду на камеру. — Она поднимает на меня глаза. — Не начнёте?

— Посуду жалко.

— Разумная женщина. Второе. Квартира. Куплена в браке, ипотеку гасили вместе. Совместная собственность — половина ваша, половина его.

Половина кухни, где я плакала на полу, и половина детской.

— Третье. — Крестик в третьем квадрате выходит жирнее. — Доля в клинике. Вы её подарили свекрови в восемнадцатом году.

— Временно.

— В законе нет слова «временно». Дарение — это навсегда. Можно оспорить, если есть доказательства обмана, но сроки давно ушли. Без бумаги, где они признают, что обещали вернуть, — шансов у вас нет.

— Бумаги нет. Было слово.

— Слово — это прекрасно. — Инна снимает очки и трёт переносицу. — Мой первый муж тоже давал слово. Теперь его слово живёт в Сочи.

Я пытаюсь улыбнуться, но получается криво.

— И четвёртое. — Она стучит ручкой по последнему квадрату. — «Ритм». Товарный знак зарегистрирован на клинику в октябре. Вы автор программы, вас никто не лишит статьи и протокола. Но слово «Ритм» на заявке, на сайте, на футболках детей — это их собственность. Используете — получите иск.

Я смотрю на четыре квадрата с крестиками, на четыре камеры, ни одна из которых не бьётся в мою пользу.

— То есть я не могу назвать свою программу её собственным именем.

— Можете. Дома, на кухне. — Инна пожимает плечами. — А публично — придумайте новое. И не пишите постов. Не трогайте базу клиники. Оригинал протокола — в банковскую ячейку, а не в сумку.

Я невольно трогаю сумку: протокол лежит там в прозрачной папке, между кошельком и Вариной справкой для бассейна.

— Октябрь, — говорю я. — В октябре мы ещё ужинали у Галины Петровны всей семьёй. Он резал пирог.

— В октябре, — сухо отвечает Инна, — он регистрировал знак. Одно другому не мешает. Мужчины прекрасно умеют совмещать.

Она подвигает ко мне договор, и я подписываю, не читая второй страницы, а потом всё-таки возвращаюсь и читаю — привычка.

* * *

Ёлку мы достаём с балкона в коробке из-под пылесоса — искусственную, двухметровую. Вадим каждый год обещал купить живую, и каждый год было некогда.

Варя командует, а я собираю нижний ярус и колю пальцы о проволочные ветки.

— Красные шары вниз, — говорит она. — Синие наверх. Хоккеиста — в середину, чтобы все видели.

Стеклянного хоккеиста Вадим привёз из Праги, с конгресса, когда Варе было три. Она держит игрушку двумя руками и смотрит на неё дольше, чем нужно.

— Мам. А папа придёт на Новый год?

Вот он, вопрос, которого я ждала всю неделю.

— Я спрошу у него сегодня.

— Ты всегда говоришь «спрошу».

— Потому что я не знаю, Варь. Честно. Сейчас напишу.

Я пишу при ней: «Варя спрашивает про Новый год. Ты придёшь?» — отправляю и кладу телефон экраном вверх на коробку, чтобы она видела.

Телефон пикает на шестом красном шаре.

«Улетаем с Кристиной в горы тридцатого. Поздравлю Варю по видео в девять. Не накручивай её, Поля».

«Не накручивай» — я перечитываю это и замечаю, что пальцы чуть дрожат, — замечаю так же, как тремор у пациента. Пульс у запястья частый, под сотню.

Варя смотрит на меня: моё лицо она читает быстрее, чем я её кардиограммы.

Что ей сказать? Что «папа выбрал Кристину»? Это правда, но и отрава: ей девять, и она будет носить это до сорока. «Папа очень занят» — ложь, а я обещала через дверь ванной больше не врать.

Ладно.

— Папа улетает в горы, — говорю я. — С Кристиной. Он позвонит тебе по видео в девять вечера.

Варя молча вешает хоккеиста, но криво, и он съезжает по ветке вниз.

— С Кристиной, — повторяет она.

— Да.

— А почему не к нам?

— Потому что взрослые, которые разошлись, встречают праздники отдельно. Так бывает. — Я присаживаюсь рядом с ней на корточки. — Это не потому, что он тебя меньше любит. Это про нас с ним. Не про тебя.

— Ты так говоришь, потому что так надо говорить.

Девять лет — и дежурными словами её уже не купишь.

— Я так говорю, потому что это правда. Злиться можно. Можно на него, можно на меня. Нельзя думать, что ты в чём-то виновата.

Она поправляет хоккеиста и, подумав, вешает рядом с ним самую страшную игрушку — облезлую сосульку из моего детства.

— Тогда пусть Зоя приходит, — говорит она. — С Матвеем. И с тем салатом, где горошек.

— Это называется оливье.

— Я знаю, как это называется, мам.

Я пишу Зое, и ответ прилетает через минуту: «Приду. С салатом, с сыном и с шампанским. Детское — Варе, остальное — нам. Держись, Сафонова».

Сафоновой меня никто не называл с института.

* * *

В час ночи в квартире так тихо, что слышно, как гудит холодильник с моей карточкой на дверце — «За тех, кто строит». Я сижу на кухне перед ноутбуком и пытаюсь написать заголовок заявки, но курсор мигает в пустом поле.

Пальцы сами печатают «Ритм» — они помнят. Я стираю это слово, потом ещё раз, медленнее, по одной букве, как снимают электроды с пациента после долгой записи. Ничего, что-нибудь придумаем.

Я беру ручку и пишу список — три варианта, как всегда.

«Пульс» — занято, проверила: два фитнес-клуба и сеть аптек.

«Сердце спортсмена» — звучит как глава учебника.

«Первый удар» — звучит как боевик. Вадиму понравилось бы.

Я вспоминаю Варю на льду: она стоит у синей линии, наклонившись вперёд, с клюшкой на коленях, и ждёт свистка. Тренер называет это «на старте». Сердце у таких детей в этот момент бьётся под сто восемьдесят, и никто не знает, что там внутри.

Я пишу: «Сердце на старте».

Смотрю на эти слова, читаю их вслух шёпотом и понимаю, что они звучат как моё, а не как его.

Дальше пальцы идут быстрее. «Цель: выявление детей и подростков группы риска внезапной сердечной смерти среди занимающихся спортом».

«Руководитель исследования:» — и тут я останавливаюсь.

Гордеева П. А. Так подписан протокол двадцать второго года, так стоит в статье. Это фамилия, которую я четырнадцать лет пишу на чужих заключениях, — его фамилия, на вывеске клиники, в иске и теперь на моей новой заявке. Программу я переименовала за вечер. А себя?

Я печатаю «Гордеева П. А.» и выделяю жёлтым. Это потом, сначала работа.

«Научный руководитель: Штерн Л. М.». Население, методы, критерии направления. К двум часам у меня готова первая страница — сухая, как заключение, и живая, как ничто из написанного мной за этот месяц.

Я сохраняю файл под именем «старт_01». Первая версия; будет и двадцать первая, если понадобится.

На столе вспыхивает телефон — Госуслуги. Сначала я думаю, что это штраф за парковку у арены.

«Вам направлено судебное извещение». Районный суд — тот, к которому относится наш дом.

Я открываю исковое заявление о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Истец — Гордеев Вадим Сергеевич, ответчик — Гордеева Полина Андреевна, предмет раздела — квартира, подготовка дела назначена на январь.

Я листаю медленно, от конца к началу, как читаю чужую историю болезни, потому что в конце всегда самое честное. На последней странице стоит его подпись, размашистая, с хвостом, — я видела её на тысяче направлений.

Под подписью — дата.

Пятое декабря.

За две недели до корпоратива. Две недели он ужинал со мной и уже знал.

Глава 7. Новый год без мужа

Зоя входит без звонка — я оставила дверь открытой — с тазом оливье под плёнкой в одной руке и пакетом, из которого торчат горлышки, в другой. За ней идёт Матвей с гирляндой на шее, как с шарфом.

— Тридцать первое декабря, — объявляет Зоя с порога. — Женщины, дети, мандарины. Мужчин не завезли. Гордеева, ставь чайник, у меня тушь потекла от мороза.

Помада у неё, как всегда, алая, рыжие волосы прилипли к щекам, и пахнет от неё снегом и укропом.

Варя с визгом утаскивает Матвея в детскую, и через минуту оттуда несётся грохот — кажется, пала крепость из подушек.

На кухне Зоя вываливает на стол огурцы, колбасу и банку горошка.

— Режем, — говорит она. — Мелко. Злость — в нож. Проверено на моём бывшем: семь лет режу, до сих пор помогает.

Я режу огурец, потом ещё один, и нож стучит по доске ровно, как метроном. Зоя смотрит на меня и качает головой.

— Ты режешь, как анализы раскладываешь. Ровненько. Давай по-человечески. — Она вытирает руки о полотенце, вырывает листок из Вариной тетради и кладёт передо мной ручку. — Пишем список.

— Какой?

— «Чего я больше не обязана делать». Я такой в первую разводную зиму писала. Сорок два пункта. Висел на холодильнике, пока Матвей его не съел. В смысле, не пролил на него компот.

Я беру ручку, и первый пункт выходит сам.

«1. Гладить рубашки с запонками».

— Хорошо, — кивает Зоя. — Дальше.

«2. Смеяться над его шутками про анестезиологов».

«3. Делать вид, что кеды к костюму — это молодо».

Зоя хрюкает в полотенце.

— Пиши-пиши. Только честно. Список без вранья, как анализ натощак.

Я пишу быстрее.

«4. Ждать до одиннадцати с ужином. 5. Отдавать ему свои слайды. 6. Говорить "мы", когда сделала я».

На шестом пункте рука останавливается, потому что это уже не смешно. Зоя видит это и забирает у меня ручку.

«7. Звонить его маме по воскресеньям». — Она задумывается. — Хотя нет. Галину Петровну оставь, она человек. Зачёркиваю.

На кухню заходит Варя с крошками безе на свитере, заглядывает через плечо и читает, шевеля губами. Потом молча берёт ручку и пишет корявыми печатными буквами:

«8. ЕСТЬ БРОККОЛИ».

— Это не тебе список, — говорю я.

— А мне тоже надо, — отвечает она и уходит.

Зоя складывается пополам, а я пытаюсь сохранить лицо и не могу. Смех поднимается откуда-то из живота и толкает в рёбра, я хватаюсь за край стола, слёзы текут по щекам, и я уже не понимаю, смешно мне или наоборот. Наверное, и то и другое — впервые с девятнадцатого декабря.

Зоя, всхлипывая от хохота, прикрепляет список магнитом на холодильник, рядом с моей карточкой «За тех, кто строит».

— Теперь у тебя на холодильнике тост и диагноз, — говорит она. — Полный комплект.

* * *

В девять Варя сидит на диване с планшетом на коленях — в синем платье, причёсанная, с блёстками на скулах, Зоя постаралась, — а планшет молчит.

В девять пятнадцать она проверяет, есть ли интернет, а в девять сорок мотает головой, когда Матвей зовёт её играть в приставку, и не отрывает глаз от экрана.

Я стою в дверях и считаю минуты, как считают интервалы на плёнке. Пишу Вадиму: «Она ждёт». Сообщение доставлено, но не прочитано.

В десять ноль три планшет наконец звонит.

— Варюша! С наступающим, зайка!

Вадим загорелый, в лыжном свитере, за ним окно, снег и огни подъёмника. Он говорит громко, как со сцены: «мы тут», «у нас тут», «посмотри, какие горы».

— Пап, я в синем платье, — говорит Варя. — Видишь?

— Красавица! Слушай, тут связь ужасная, всё зависает…

Где-то за кадром смеётся женщина — высоко, с придыханием: «Вадик, ну иди, всё остывает!» Вадим, не глядя, машет рукой в сторону.

— Ну всё, зай, целую. Маму слушайся. С Новым годом!

Экран гаснет, и я смотрю на часы на стене: две минуты — меньше, чем он тратил на выбор галстука.

Пальцы сами открывают его чат и набирают: «Ты опоздал на час и не дослушал собственную дочь». Я смотрю на эти слова и стираю их. Если я начну войну в новогоднюю ночь, Варя запомнит войну, а не праздник.

Варя очень аккуратно кладёт планшет на диван экраном вниз.

— Связь плохая, — говорит она ровным голосом. — В горах всегда так.

— Да, — говорю я. — Бывает.

— Я пойду поиграю с Матвеем.

Она идёт по коридору прямо и не быстро, но проходит мимо детской, и дверь в нашу спальню тихо закрывается.

Я жду минуту, потом вторую — и иду за ней.

В спальне никого нет, только дверца шкафа приоткрыта. Половина шкафа теперь Варина: когда освободилось место, я сложила туда её праздничные вещи. Внизу, между моими сапогами и чехлом с костюмом снежинки, сидит моя дочь, прижав колени к груди, и плечи у неё трясутся без звука. Девять лет — а плачет уже как взрослая, так, чтобы никто не слышал.

Я ничего не говорю, просто отодвигаю сапоги и забираюсь к ней. В тесном шкафу пахнет нафталином и её детским шампунем; плечом я задеваю чехол, и он шуршит. Белый тюль, блёстки, картонная корона — на прошлой неделе, на утреннике, она была главной снежинкой.

Варя утыкается мне в бок, горячая и мокрая.

— Он смотрел на неё, — шепчет она. — Пока со мной говорил. Он вбок смотрел.

— Я знаю.

— Ты сказала, что это не про меня.

— Не про тебя. — Я глажу её по голове, по растрёпанной косичке. — Про него. Он сейчас плохо умеет быть папой. Это его ошибка. Не твоя.

Она долго молчит, а потом вытирает нос о мой свитер.

— Только Матвею не говори, что я плакала.

— Никогда.

Мы сидим в шкафу, пока Зоя не стучит в дверцу.

— Тук-тук. Пожарная служба. До курантов двенадцать минут, оливье скучает.

* * *

Под бой курантов Матвей с Варей орут «Ура!» и бегут на балкон смотреть салют. Зоя чокается со мной бокалом и шепчет:

— С новым счастьем, Сафонова. В этот раз — своим.

В ноль часов семь минут у меня в кармане вибрирует телефон. Это не Вадим, а номер, который я неделю назад записала как «Баженов А. А.».

«С Новым годом, доктор. Отчитываюсь: суточный монитор прошёл. Спал с проводами, как космонавт. Пульс утром был 52. Мне сказали, это признак спортсмена».

Я перечитываю и невольно улыбаюсь.

«Кто сказал?» — пишу я.

«Интернет».

«Интернет вам не врач. Где встречаете?»

«У мамы в Тагиле. Она смотрит концерт и комментирует каждого певца. Сестра спит после смены в кондитерской. Тимофей ест холодец и делает вид, что не рад меня видеть».

«Тимофей велел передать вашей дочери: кистевой бросок отрабатывают каждый день, а не по праздникам».

«Передам. Она скажет, что знает».

«Он предупредил, что вы так и ответите. Я начинаю бояться вашей семьи».

«Звучит как хороший вечер».

«Лучший за десять лет. Я давно здесь не встречал Новый год. А вы?»

Я смотрю на балкон, где Варя с Матвеем прыгают у перил, а Зоя снимает их на телефон, и на список на холодильнике с восьмым пунктом печатными буквами.

«Оливье, подруга, двое детей и список того, что я больше не обязана делать».

«Что там первым пунктом?»

«Гладить рубашки».

«Я свои сам глажу. Со студенческой общаги».

«Поздравляю. Это не делает вас здоровым».

Три точки появляются, исчезают и появляются снова.

«Вы всегда такая, даже в Новый год?»

«Особенно в Новый год. Ложитесь спать, Арсений Аркадьевич. Без лестниц».

«В мамином доме пятый этаж и нет лифта. Вы опоздали с назначениями».

Я смеюсь вслух. Зоя оборачивается с балкона, поднимает бровь и через секунду уже стоит рядом, румяная с мороза.

— Так, — говорит она. — Кто?

— Пациент.

— Пациенты в семь минут первого пишут только влюблённые и с инфарктом. — Она щурится. — Инфаркта нет?

— Зоя.

— Молчу-молчу. — Она отпивает шампанское. — Но ты смеёшься. Второй раз за вечер. Я веду статистику.

Я убираю телефон в карман, достаю и снова убираю. Зоя смотрит на это, как на кардиограмму с артефактами, и ничего не говорит, что хуже любых слов.

Переписка лёгкая, как разговор в поезде с попутчиком, которого больше не увидишь, — только я знаю, что увижу. Он мой пациент, и этот факт стоит между строк, как печать на договоре.

«С Новым годом», — пишу я последнее и выключаю звук.

* * *

В час ночи Зоя с Матвеем спят на диване в гостиной, укрытые пледом, а Варя — у себя, в синем платье: я не стала её будить. В квартире пахнет мандаринами и бенгальскими огнями.

Я мою и вытираю бокалы, потом сажусь на кухне с телефоном. Пятнадцать лет я проверяю почту перед сном каждый день — даже в отпуске и даже в новогоднюю ночь.

Письмо из лаборатории пришло в 14:26, когда я резала салаты: «Заключение суточного мониторирования ЭКГ. Пациент: Баженов А. А.».

Файл грузится долго. Средняя частота — шестьдесят восемь, минимальная — пятьдесят два, ночью, во сне: никакой это не спортсмен, человек просто спал. Одиночных желудочковых экстрасистол немного, такое бывает и у здоровых, а пауз нет вовсе.

Я привычно листаю дальше, быстро, по диагонали, — и останавливаюсь.

«28.12.2025, 04:12. Эпизод неустойчивой желудочковой тахикардии: 9 комплексов, частота 176 в минуту».

Девять неправильных быстрых ударов подряд из желудочка, а потом сердце само сбилось обратно в ритм. Он спал и, скорее всего, даже не проснулся.

Я открываю скан дневника пациента — лист, где он отмечал самочувствие. Крупный почерк с нажимом: «00:30–07:00 — сон». Ни слова о сердцебиении.

Я увеличиваю фрагмент записи: широкие уродливые комплексы, частокол. Я видела такие сотни раз — у пациентов и в учебниках.

Пальцы холодеют, и я кладу ладонь на стол, чтобы она не дрожала.

Обморок на лестнице, внезапная смерть отца в сорок пять, а теперь ещё и это. Три фактора риска из учебника — и все три у одного человека, который сейчас спит в Тагиле на пятом этаже без лифта.

Часы на духовке показывают 01:09. Тогда, в четыре двенадцать, он не проснулся. Проснётся ли в следующий раз?

Звонить пациенту в час ночи непрофессионально, а в новогоднюю ночь — тем более. Подождать до утра было бы правильно, до второго января — вежливо.

Ладно, Гордеева. Вежливость — не диагноз.

Я набираю номер, и он отвечает после второго гудка, совсем не сонным голосом.

— Доктор. Что-то случилось?

— Пришло заключение Холтера. — Я говорю ровно, как на обходе. — Арсений Аркадьевич, в ночь на двадцать восьмое у вас был эпизод желудочковой тахикардии. Неустойчивой — значит, сам прекратился. Девять сокращений с частотой сто семьдесят шесть. В четыре двенадцать.

В трубке ни звука.

— Это опасно, — продолжаю я. — После вашего обморока и с историей вашего отца — это сигнал. Не приговор, но сигнал. Именно такие эпизоды иногда становятся длинными. Нужно МРТ сердца, как можно скорее. И нам надо говорить не по телефону.

Он молчит, и я слышу, как в Тагиле за стеной бормочет телевизор, и ещё его дыхание — ровное, слишком ровное: так дышат, когда держат себя в руках.

Я жду и на этот раз не считаю.

— Я знаю, — говорит он наконец. — Я двадцать восемь лет ждал этой бумаги.

Глава 8. Нижний Тагил

— Мам, а он правда миллиардер? А почему тогда пироги в подвале?

Варя шепчет это слишком громко, на весь зал. Кондитерская «Лизин пирог» и правда в полуподвале: пять столиков, витрина, запах корицы и горячего масла, а на стене — детские рисунки и хоккейная клюшка с автографами.

— Потому что пироги не в подвале, а в цоколе, — отвечает из-за витрины высокая женщина в фартуке. — Это разные вещи. В подвале картошку хранят. Я Лиза, сестра. Садитесь, у меня как раз с брусникой вышли.

У неё его улыбка, только шире и без тормозов, и руки в муке по локоть. Не дожидаясь заказа, она ставит перед нами блюдо и щиплет Варю за щёку.

Сто сорок километров я ехала, репетируя первую фразу — «Я приехала как врач», — и, выходит, репетировала её не для того человека.

За соседним столом сидит Тимофей в той же толстовке и с телефоном, и Варя опознаёт его за полсекунды.

— Ты помощник тренера! Ты сказал, что у меня кистевой слабый!

— Он у тебя слабый, — не поднимая глаз, отвечает Тимофей. — Ты бросаешь плечом.

— А ты бросал хуже, мне Ксюша говорила!

— Ксюша твоя на коньках как табуретка.

Через минуту они уже спорят про клюшки, загиб крюка и то, чья команда в чемпионате сильнее. Тимофей делает вид, что ему скучно, но, когда он забывается и смеётся, у него блестят брекеты.

Я пробую пирог: тесто тонкое, брусника кислая, сахара ровно столько, сколько надо. До неприличия хорошо.

В углу у окна сидит маленькая женщина в пуховом платке, перед ней чай в стакане с подстаканником. Она не ест, а смотрит на меня — внимательно, не мигая, сверху вниз и обратно, — так я смотрю на эхокардиограмму, когда что-то не сходится. Глаза у неё его, светлые, с тёмным ободком.

— Мама, — говорит Лиза, поймав мой взгляд. — Нина Ивановна. Она не кусается. Почти.

Я встаю, подхожу и протягиваю руку.

— Полина Андреевна. Я кардиолог вашего сына.

— Знаю, — говорит Нина Ивановна и жмёт руку сухо и крепко. — Он сказал: «Приедет доктор». Доктора у нас были. С дочками на пироги — ни одного.

Лиза за витриной роняет противень, а Варя с Тимофеем на секунду замолкают.

— Я приехала как врач, — говорю я прямо, глядя ей в глаза. — Не в гости. Дочку не с кем было оставить. Мне нужно поговорить с ним о результатах. Серьёзно.

— Говорите, — кивает Нина Ивановна. — Только он сам тебе скажет, что серьёзно у него только с банками.

Она переходит на «ты» так естественно, что я не успеваю обидеться.

Дверь открывается, и с мороза, со снегом на плечах, входит Арсений. Он сразу видит всю картину — Варю с Тимофеем, Лизу с противнем, мать со стаканом и меня у её столика — и останавливается на пороге. Впервые я вижу, как он не знает, куда деть руки.

* * *

Машину он ведёт сам, без водителя и без помощницы. Варя осталась с Лизой учиться лепить шаньги: она сдалась за пять секунд, когда ей дали собственную скалку.

За окном плывёт серый, низкий город — пятиэтажки, трубы, снег с копотью. Он сворачивает к длинному забору и останавливается напротив проходной: старая будка, турникет, табличка с названием цеха.

— Здесь, — говорит он.

Я его не тороплю.

— Он вышел покурить в три ночи. Сел вот на ту лавку. — Он показывает подбородком на пустое место у стены, где лавки давно нет. — Сменщик нашёл его через двадцать минут. Скорая ехала сорок. Нам позвонили в шесть утра.

Он говорит ровно, как будто докладывает о квартальной выручке, и только пальцы на руле белеют.

— Мне было пятнадцать. Лизе — восемь. Мама работала крановщицей в соседнем цехе. Она сама его опознавала.

Он отстёгивает старые часы на стальном браслете и крутит их в пальцах.

— Его. «Полёт». Отдали маме в пакете вместе с пропуском и сигаретами. Она хотела выбросить. Я забрал. Двадцать восемь лет ношу, они ни разу не встали. Сердце у него встало, а часы — нет. Смешно, да?

— Нет, — говорю я. — Не смешно.

— Через неделю после похорон я бросил хоккей. Пошёл грузчиком на базу. Пятнадцать лет, вру, что шестнадцать, — взяли. Мама одна не вытягивала. — Он надевает часы обратно и защёлкивает браслет. — Я стал старшим мужчиной в семье. Так мне сказал мастер отца на поминках. Положил руку на плечо и сказал: «Теперь ты старший». Я и стал.

Я смотрю на него сбоку: тяжёлый подбородок, сломанный нос, седина — миллиардер, которого боятся банки. А под всем этим сидит мальчик в чужой куртке на поминках, которому сказали, что теперь он старший. Он поверил и с тех пор ждёт, когда придёт его очередь сесть на лавку.

Я открываю дверь и выхожу. Мороз хватает за щёки. Я иду к стене проходной, туда, где была лавка; охранник в будке поднимает голову и снова её опускает. Арсений выходит следом и встаёт рядом.

— У него было что-нибудь до той ночи? — спрашиваю я. — Обмороки, головокружения? Одышка?

Он долго думает.

— Мама ругалась, что он на кран поднимается с остановками. Говорил — курево. — Он медлит. — Один раз упал у подъезда. Сказал, что поскользнулся.

— А у вас?

Он смотрит на пустую стену.

— Полгода. На лестнице. Темнеет в глазах на секунду, потом проходит. Раз пять. Может, шесть. Я считал это усталостью.

Вот оно: пять или шесть раз — и ни одного врача.

— Вы знаете, — говорю я, — что вы до сих пор его ждёте?

— Кого?

— Не кого. Что. Ту ночь. Ту лавку. Вы двадцать восемь лет живёте так, будто она уже назначена.

Он поворачивается ко мне и долго смотрит.

— А вы приехали сказать, что её можно отменить?

— Я приехала сказать, что её можно отодвинуть. Очень далеко. Если вы перестанете ей помогать.

* * *

Мы сидим в машине у проходной; двигатель работает, печка гудит. Я говорю, а он пока слушает.

— Эпизод в четыре двенадцать — это предупреждение. Сердце сбилось само и само вернулось. В следующий раз может не вернуться. — Я загибаю пальцы. — Вы теряли сознание. Ваш отец умер внезапно. Холтер поймал тахикардию. Это три фактора риска. Нужна МРТ сердца с контрастом — посмотреть, сколько в мышце рубцовой ткани. И, скорее всего, после неё будет разговор об имплантируемом кардиовертере-дефибрилляторе.

— О железке.

— О приборе размером со спичечный коробок. Ставят под кожу, под ключицу. Если сердце сорвётся в смертельный ритм, он даст разряд и запустит его заново. Это не лечение. Это страховка. Такая, которой у вашего отца не было.

Он смотрит в лобовое стекло.

— Нет.

— Почему?

— Потому что у меня через месяц сделка с тремя банками. Потому что партнёры читают медицинские новости внимательнее, чем отчётность. Потому что человек с железкой в груди — это человек, на которого нельзя ставить. Вы понимаете, что такое «ключевое лицо» в кредитном договоре?

— Понимаю. Я понимаю, что такое «ключевое лицо» в морге.

Он резко оборачивается.

— Есть таблетки, — говорит он и стискивает руль. — Есть клиники в Германии. Я слетаю, мне там…

— Таблетки уменьшат симптомы. От внезапной остановки они вас не защитят — это знает любой кардиолог, и в Германии тоже. Там вам скажут то же самое. Только на немецком и за другие деньги.

— Не надо так со мной.

— А как надо? — Голос у меня поднимается, и я не пытаюсь его удержать. — Вы привезли меня к лавке, где умер ваш отец. Рассказали про часы. И через пять минут говорите мне про банки. Вы хотите, чтобы Тимофей рассказывал своим детям про вашу лавку?

— Я хочу, чтобы вы были моим врачом, а не моей совестью!

— Тогда слушайте врача. Отказ от обследования из-за банков — это не решение. Это трусость.

Слово падает в салон, как монета на кафель.

У него под кожей ходят желваки. Потом он выключает печку и говорит очень тихо и очень вежливо:

— Я отвезу вас к Лизе.

Всю дорогу мы молчим. Я смотрю в окно на трубы и думаю о том, что только что назвала трусом человека, который в пятнадцать лет пошёл грузчиком. Хороша, Гордеева, отличная врачебная тактика.

У кондитерской он не глушит мотор — значит, не зайдёт. Я выхожу, и он поднимает над рулём два пальца, как прощаются с курьером.

Но взять слово назад я не могу, потому что это правда.

* * *

Вечером Нина Ивановна поит меня чаем на своей кухне. В подъезде нет лифта, и я поднималась, считая ступеньки, чтобы ни о чём не думать. Варя спит в бывшей комнате Лизы под ковром с оленями, Тимофей ушёл к себе, Лиза — на вечернюю выпечку.

Арсений внизу, у подъезда, уже двадцать минут чистит от снега машину, которая давно чистая.

Нина Ивановна наливает мне чай из заварника с отбитым носиком, ставит вазочку с вареньем и садится напротив.

— Поругались, — говорит она, не спрашивая.

— Я назвала его трусом.

— Ну. — Она пожимает плечами под платком. — Правильно назвала.

Я не знаю, что на это ответить, и кручу ложку в варенье.

— Он сюда никого не привозил, — говорит Нина Ивановна. — Ни ту, с которой обручился. Ни друзей. Ни этих, с портфелями. Двадцать лет — один приезжает. С подарками, с деньгами. Ремонт мне сделал, от которого я до сих пор не отошла. А сам — один.

Она отпивает чай.

— А тут звонит: «Мам, я привезу доктора». Я говорю: «Заболел?» Он говорит: «Нет. Да. Не знаю».

Она смотрит на меня тем же взглядом, что и в кондитерской, но теперь я понимаю, что это не подозрение, а надежда, которую стыдно показывать.

— Я мужа похоронила в сорок. От сердца, которого никто не слушал. Сына хоронить не буду. — Голос у неё не дрожит ни на полтона. — Ты не отступай, доча. Он упрямый, в отца. Но тебя он услышит. Я видела, как он сегодня в дверях встал.

У меня перехватывает горло, и я только опускаю голову, потому что говорить не могу.

Хлопает входная дверь, и в коридоре раздаются тяжёлые шаги с одышкой — пятый этаж.

Арсений встаёт в дверях кухни, снег у него на плечах тает. Нина Ивановна молча поднимается, забирает свою чашку и уходит в комнату, прикрыв за собой дверь.

— Я был резок, — говорит он. — Извините.

— Я тоже.

— Вы — нет. Вы были правы. Это хуже. — Он опирается плечом о косяк. — МРТ. Только МРТ, Полина Андреевна. Про железку — потом. Не дожимайте сегодня.

— Только МРТ, — повторяю я. — Сегодня.

Он отрывается от косяка, и впервые за день у него разглаживается лоб.

Обратно мы выезжаем в восемь. Варя спит на заднем сиденье, обняв пакет с шаньгами; трасса пустая, только фуры с огнями и снег в свете фар.

На сороковом километре звонит телефон, на экране — «Вадим». Я включаю громкую связь, убавив звук, чтобы не разбудить Варю.

— Ты где? — Голос злой, без «Поли».

— Еду. А что?

— Я у дома. Поднялся — квартира пустая. Где моя дочь?

— Со мной. Спит.

— Значит, так. — Я слышу, как он набирает воздух, словно перед докладом. — Хочешь — спроси своего адвоката.

Варя на заднем сиденье шевелится во сне.

— Я забираю Варю на каникулы. По закону я имею право.

Глава 9. Каникулы у папы

Рюкзак с единорогом стоит в прихожей с семи вечера. Варя собрала его сама: пижама, зарядка, клюшка и заяц, которого она «уже не берёт, просто так».

Вадим звонит снизу ровно в восемь и наверх не поднимается.

— Мам, а если мне там не понравится? — Варя уже в куртке, шапка на одном ухе.

— Тогда позвонишь. Я заберу. В любое время, даже ночью.

— А если понравится?

Вопрос с подвохом: ей девять, а проверяет она, как следователь.

— Тогда я буду рада, что тебе хорошо.

Она прищуривается, проверяя, не вру ли я, а потом кивает и обнимает меня — быстро, крепко, в шею.

Я могла бы её не отдавать. Инна по телефону объяснила, что, пока суд не определил порядок общения, у отца те же права, что и у матери. Можно спорить, звонить в полицию, писать заявления и устраивать сцены у подъезда — и всё это время Варя будет стоять посередине в шапке на одном ухе. Поэтому я договорилась сама: два дня, до вечера среды, без сцен.

Я спускаюсь с ней до первого этажа. Вадим ждёт у машины в новом пуховике; Кристины не видно — наверное, сидит в салоне. Он забирает рюкзак, говорит дочери «привет, зай», а мне ничего, и машина уезжает.

Наверх я поднимаюсь пешком, сама не зная зачем.

В одиннадцать я пишу Варе, стираю «ты как?» и «тебе там нормально?» и отправляю «Спокойной ночи, снайпер». Через минуту приходит один смайлик с хоккейной клюшкой: значит, жива и не хочет разговаривать при них.

Ночью квартира звучит как пустой кабинет после приёма: холодильник, батарея, лифт за стеной. Я лежу и слушаю, в час встаю проверить, закрыта ли входная дверь, в три встаю снова, а в пять сдаюсь и сажусь за заявку.

К девяти утра у меня готова таблица школ — шесть площадок «Ритма», контакты, фамилии директоров, — и я перечитываю её в четвёртый раз, когда в дверь звонят.

На пороге Зоя в пуховике цвета светофора, с двумя стаканами кофе.

— Я так и знала. — Она оглядывает меня: пижама, пучок, ноутбук. — Ты не спала, не ела и пересчитываешь одно и то же. Одевайся.

— Зачем?

— Работать, а не страдать. Ты хотела свои пятьсот детей? Дети в школах. Школы ждут. Поехали.

— Зоя, я тебе даже платить не могу. У меня бюджетная ставка с двенадцатого и адвокат.

— А я и не прошу. — Она ставит кофе на ноутбук, прямо на таблицу. — Я с двадцать второго года таскала за тобой электроды по всем раздевалкам. Думаешь, отдам теперь твою программу этому, в кедах? Будут гранты — посчитаемся. Не будет — накормишь оливье.

Я смотрю на неё — на светофорный пуховик, на помаду, на кофе поверх моих фамилий.

— Пять минут, — говорю я. — Я только волосы.

* * *

«Уральские ястребы» первые в списке: с ними «Ритм» начинался в двадцать втором, и директор лично возил мне на обследование своих мальчишек на автобусе.

Сейчас он встречает нас в коридоре арены и не смотрит в глаза.

— Полина Андреевна. С Новым годом. Рад, рад.

Он совсем не рад — это видно по тому, как он держит сцепленные руки внизу, как на похоронах.

— Я буду коротко. Я запускаю новую программу скрининга. С кафедрой, по новому протоколу. Хочу начать с ваших детей, весной.

Он мнётся и переступает с ноги на ногу.

— Тут такое дело… Вчера к нам приезжал Вадим Сергеевич. С юристом. Мы подписали с клиникой соглашение. Эксклюзивное. На три года.

— Эксклюзивное, — повторяю я.

— Обследование детей — только у них. Бесплатно для школы. Новое оборудование для медкабинета. — Он наконец поднимает глаза. — Полина Андреевна, у меня двести детей и медкабинет девяносто восьмого года. Я не мог отказаться.

Я его понимаю, и хуже всего именно это.

— Что входит в обследование? — спрашиваю я.

Он протягивает мне копию соглашения, и я листаю: ЭКГ покоя, осмотр педиатра, анкета, эхокардиография — «по показаниям, по направлению врача клиники». В «Ритме» эхо делали всем, у кого хоть что-то находилось на ЭКГ или в семейной истории, — именно так и нашли Тимофея.

— Здесь нет обязательного эхо для группы риска, — говорю я.

— Вадим Сергеевич сказал, это то же самое, только современнее.

То же самое, только дешевле. Я молчу, потому что это уже не мой спор, и мне от этого физически плохо, как бывает, когда видишь чужую ошибку на чужой плёнке и не имеешь права подписать заключение.

— Вы правильно сделали, — говорю я ровным голосом. — Детей обследуют. Это главное.

Зоя смотрит на меня так, будто я сказала что-то неприличное.

Во второй школе, футбольной, на Уктусе, нас встречают тот же коридор и те же сцепленные руки: «Вчера вечером. Соглашение. Вы же понимаете». В третьей, по плаванию, директор вообще не выходит и передаёт всё через секретаря.

В машине Зоя бьёт ладонью по рулю.

— Он скупает твои площадки. Одну за другой. За один день.

— За два. Вчера и позавчера. — Я смотрю в таблицу: три фамилии из шести придётся вычеркнуть. — Он знал, куда ехать. Список площадок лежал в общей папке клиники. Я сама его туда положила.

— И что ты будешь делать?

Я молча считаю: шесть минус три, плюс все, кто ещё не знает фамилию Гордеев.

— Остальные три объедем завтра, — говорю я. — А потом поедем туда, где «Ритма» никогда не было.

— Это куда?

Я открываю новую вкладку и пишу: лыжная школа на Уктусе — в пилот не входила, у них свой фельдшер и нет аппаратов; борьба на Эльмаше; фигурное катание в Верхней Пышме. Три новые строчки вместо трёх вычеркнутых.

— Туда, — говорю я. — Где он ещё не успел.

* * *

В семь вечера звонит домофон, и на экране я вижу Варю — одну, с рюкзаком, а за ней, у машины, Вадима с телефоном у уха. Сегодня вторник, а договаривались мы до вечера среды.

Варя влетает в квартиру, бросает рюкзак в прихожей и разувается на бегу.

— Ты почему раньше? — спрашиваю я. — Что-то случилось?

— Я сама попросилась. — Она идёт на кухню и открывает холодильник так, будто её не кормили неделю. — Мам, а есть сырники?

— Сделаю. Рассказывай.

Я ставлю сковородку, а она садится на табуретку и болтает ногами.

— Кристина нормальная, — говорит она тоном эксперта. — Она мне ресницы показывала, как клеить. Только она всё время снимает. Я ем — она снимает. Я с котом играю — снимает. Говорит, это для блога. Я сказала, что я не для блога.

— А она?

— Обиделась. Потом не обиделась.

Я переворачиваю сырник и жду.

— А папа весь вечер говорил по телефону. Про деньги. Про какой-то фонд и про школы. Громко. — Варя перестаёт болтать ногами. — А потом он сказал кому-то, что мама украла у него программу. Что ты украла.

Лопатка застывает у меня в руке, и сырник начинает пригорать с одного бока, пока я не выключаю газ.

Ей девять. Она будет верить ему, потому что он папа, или мне, потому что я мама, — а верить надо не ему и не мне.

Ладно, Гордеева. Без вранья и без яда.

— Варь, ты помнишь свой рисунок? Где мы втроём на льду и у всех коньки разного цвета?

— Помню. Он у бабушки Гали на холодильнике.

— Кто его нарисовал?

— Я. — Она смотрит на меня как на ненормальную.

— А если бабушка Галя покажет его гостям и скажет: «Это я нарисовала»? Рисунок ведь у неё. Висит на её холодильнике.

Варя хмурится и думает, и морщинка у неё между бровями моя — я узнаю её, как своё отражение.

— Всё равно я нарисовала. Там в углу моя подпись. И я помню, как рисовала. И фломастер синий кончился, поэтому у папы коньки зелёные.

— Вот. Это называется авторство. Кто придумал и сделал — тот и автор. Даже если вещь висит у другого. Даже если её назвали по-другому.

Она молчит, а потом медленно спрашивает:

— Значит, программа твоя? А папа её… повесил на свой холодильник?

— Примерно так.

— И подписал своим именем?

Я не отвечаю: мой ответ ей не нужен, она его уже нашла.

— Это нечестно, — говорит Варя очень тихо и очень по-взрослому, а потом добавляет: — Но он всё равно мой папа.

— Конечно. Это не меняется.

— А можно я ему скажу? Что это нечестно?

— Ты можешь говорить ему всё, что думаешь. — Я сажусь напротив. — Но ты не обязана нас мирить. И защищать меня не обязана. Это работа взрослых. Твоя работа — кистевой бросок.

Она фыркает и почти улыбается, а потом тянется за сырником и, не жалуясь, первой съедает обгоревшую сторону.

* * *

Варя засыпает в десять. Я выхожу на балкон в куртке поверх пижамы и набираю номер, который обещала себе не набирать.

— Полина Андреевна. — Голос у Арсения удивлённый. — Что-то с результатами?

— Нет. МРТ я вам записала на двенадцатое, вы помните. Я звоню по другому делу.

Он ждёт, а я выдыхаю пар в морозный воздух.

— Вадим за два дня подписал эксклюзив с тремя школами пилота. Бесплатное обследование, оборудование, всё. Остальные три подпишет завтра. У меня не останется ни одной пло-

щадки. — Я говорю быстро, пока не передумала. — «Уральские ястребы» — школа Тимофея. Директор вас знает. Одного вашего звонка хватит, чтобы…

— Нет.

Одно слово — как дверь, закрытая перед носом.

— Вы даже не дослушали.

— Дослушал. — Голос спокойный, без металла. — Вы просите, чтобы я позвонил директору и надавил. Чтобы ваш проект получил площадку, потому что я за вас. Так?

— Так.

— Полина Андреевна. Если я начну играть за вас, ваша победа ничего не будет стоить. Ни для экспертов. Ни для Гордеева. Ни для вас самой.

Меня обдаёт жаром, несмотря на мороз.

— Удобная позиция. Сидеть на тридцатом этаже и смотреть, как он меня закапывает.

— Не удобная. — Он на секунду замолкает. — Вы мне полторы недели назад сказали: если одно начнёт мешать другому, вы уйдёте как врач. Я тогда понял. Сейчас вы просите меня смешать. Я не хочу терять врача.

Ответить мне нечего. Он прав, и это злит больше всего: он прав, а я стою на балконе в пижаме — женщина, которая минуту назад была готова продать собственное правило за три школы.

— Спокойной ночи, Арсений Аркадьевич, — говорю я сквозь зубы.

— Спокойной ночи. — И, когда я уже отнимаю телефон от уха, добавляет: — Вы найдёте школы. Я видел, как вы находите то, чего не видят другие.

Я отключаюсь и стою на балконе, пока не замерзают пальцы. Сначала я злюсь на него и на себя, потом, медленно, — только на себя. Назвала его трусом за то, что он торговался со своим сердцем, а сама пошла торговаться своим правилом.

Вернувшись на кухню, я ставлю чайник и открываю таблицу: лыжники, борцы, фигуристки. Я пишу каждому директору отдельное письмо, без слова «Ритм» и без фамилии мужа — «Кафедра кардиологии медицинского университета приглашает…» — и отправляю все три.

Ровно через час, в одиннадцать с минутами, приходит сообщение от Тимофея.

«Я поговорил с тренерами. Не все за вашего бывшего. Завтра в семь, служебный вход».

Глава 10. Чужой кабинет

Табличка на двери ещё старая: «Кабинет функциональной диагностики. Врач —», а дальше полоска белого скотча, под которой угадывается чужая фамилия.

Половина восьмого, а в коридоре уже сидят двенадцать человек — шапки на коленях, талоны в руках, пакеты с прошлыми кардиограммами. Двенадцать пар глаз провожают меня до двери: новенькая, молодая, посмотрим.

Внутри стоят кушетка с продавленным краем, стол, два стула и аппарат УЗИ. Я узнаю модель — на такой я училась в ординатуре. Варе девять, а аппарат точно старше.

— Частница, значит.

Медсестра сидит у окна с кружкой — крупная, в вязаной жилетке поверх халата, с очками на шнурке — и смотрит поверх очков так, как смотрят на практикантку, которая перепутала пробирки.

— Была частница, — говорю я. — Теперь — ваша.

— Наша, — хмыкает она. — У нас тут не по сорок минут на пациента. У нас по двенадцать. И кофе за свой счёт. Карты бумажные, компьютер зависает, датчик для детей один на весь центр.

— Тогда давайте начинать. Двенадцать минут — это много, если не болтать.

Она поджимает губы и выходит звать первого.

К одиннадцати я понимаю, что такое двенадцать минут: успеть посмотреть клапаны, написать заключение от руки, ответить на вопрос «а это не рак?» и не забыть выдохнуть. Аппарат греется и думает, картинка зернистая, как телевизор в деревне, и я кручу ручки, пока не нахожу нужный угол.

Девятнадцатая пациентка — Римма Фёдоровна, семьдесят четыре года, на эхо по направлению терапевта: «одышка, слабость, исключить порок». В пакете у неё лежит ЭКГ трёхмесячной давности с заключением «синусовый ритм».

Я кладу датчик ей на грудь и смотрю на экран. Клапаны для её лет работают прилично, левое предсердие увеличено, а ритм…

Я убираю датчик и беру её за запястье. Удары идут вразнобой — два быстро, пауза, три, пауза, — как у пьяного барабанщика на свадьбе.

— Римма Фёдоровна, у вас сердце бывает, что колотится? Неровно?

— Да всю жизнь колотится, доченька. Я ж на нервах.

— Снимите кофточку ещё раз. Сделаем кардиограмму. Прямо сейчас.

Медсестра поднимает голову.

— У неё талон только на эхо. ЭКГ — через регистратуру, по записи.

— Через регистратуру — это через две недели. — Я уже тяну аппарат ЭКГ к кушетке. — Если я права, за две недели у неё может случиться инсульт.

Медсестра смотрит на меня, потом молча встаёт и подаёт электроды.

Аппарат выплёвывает ленту, и я читаю её, не дожидаясь конца: зубцов Р нет, интервалы разные, как зубья у сломанной расчёски. Фибрилляция предсердий — возможно, давняя, возможно, приступами, поэтому в прошлый раз её и не поймали.

Я пишу заключение и направление к кардиологу на этот же день, через заведующего. Римме Фёдоровне объясняю простыми словами: сердце сбилось с ритма, это лечится, но заниматься этим нужно сегодня, а не потом.

Когда за ней закрывается дверь, медсестра ставит на мой стол чистую кружку и наливает кофе из своего термоса.

— Меня Валентина зовут, — говорит она. — Можно Валя. Сахар не предлагаю — у нас его нет.

Я пью крепкий горький кофе. Впервые за десять лет я работаю не «у Гордеева», табличка на двери заклеена скотчем, и мне не страшно.

* * *

В шесть вечера, когда уходит последний пациент, в дверь стучат.

Это Тимофей — в той же толстовке, с рюкзаком, а за ним трое мужчин и женщина в спортивных куртках, с обветренными лицами.

В среду у служебного входа арены он познакомил меня только с одним из них, старшим тренером девчачьей группы: пять минут в тамбуре, шёпотом, под гул заливочной машины. Сегодня он привёл остальных.

— Вот, — говорит Тимофей и смотрит в пол. — Это они.

— Сергей, тренер младших «Ястребов», — первым протягивает руку один из мужчин. — Это наш тренер вратарей. А это двое из лыжной школы на Уктусе. Вы им письмо писали.

Я пожимаю руки и не знаю, куда всех посадить, потому что в кабинете два стула. Валя молча приносит из коридора ещё два и уходит, прикрыв дверь.

— Мы с ребятами поговорили, — начинает Сергей. — Соглашение с клиникой директор подписал. Это про медкабинет школы. А куда родители ведут ребёнка на дополнительное обследование — это их дело. Так?

— Так. Если родители подписывают согласие. Добровольно. Исследование университетское, с этическим комитетом. Без денег и без давления.

— Вот. — Он достаёт из кармана сложенный листок. — Это родители моих. Кто готов. Двадцать две фамилии.

Тренер вратарей кладёт рядом свой листок — восемь фамилий, а лыжники один на двоих — ещё десять.

— Сорок, — считаю я вслух.

Я смотрю на три листка на столе, на фамилии, написанные разными почерками, где-то с ошибками, где-то с телефонами. Сорок детей — сорок сердец, в которые никто ещё не заглядывал как следует.

— Почему? — спрашиваю я. — У вас директор подписал. Вам за это может прилететь.

Сергей трёт обветренную щёку.

— Тимоха рассказал, кто его нашёл. — Он кивает на Тимофея. — Я в тот год у них вторым тренером был. Помню, как его со льда сняли. Помню, как он месяц ни с кем не разговаривал. А теперь он у меня помощник. Живой. — Он молчит секунду. — Я не знаю, кто из вас прав, вы или клиника. Но тогда Тимоха назвал мне фамилию врача. Гордеева, Полина Андреевна. Не Вадим Сергеевич.

Тимофей краснеет до ушей и отворачивается к окну, а у меня щиплет в носу, и я делаю вид, что изучаю листки.

— Спасибо, — говорю я. — Первое обследование — после одобрения протокола. Я позвоню каждому.

Сорок фамилий — до пятисот ещё очень далеко, но это уже не ноль.

Тренеры уходят, а Тимофей задерживается у двери, теребя лямку рюкзака.

— А дядя… — Он запинается. — Он сегодня на МРТ поехал? Он мне не говорит ничего.

— Тимофей, про чужое здоровье я не рассказываю. Даже родственникам. Даже тем, кто привёл мне сорок детей.

Он смотрит на меня, а потом ухмыляется, сверкнув брекетами.

— Значит, поехал. Вы бы иначе сказали «не знаю».

* * *

В семь приходит сообщение: «Еду. Диск у меня». Я остаюсь, а Валя уходит, оставив мне ключ и наказ выключить обогреватель.

В половине восьмого у крыльца центра останавливается чёрная машина: я вижу её из окна, потому что в кабинете горит только настольная лампа.

Арсений поднимается в кабинет пешком — по-другому он не умеет — с конвертом, в котором диск и заключение.

— МРТ, — говорит он. — Как обещал. Только МРТ.

Он садится на продавленную кушетку и оглядывает кабинет: скотч на табличке, аппарат, бумажные карты.

— Скромно.

— Честно, — отвечаю я. — Сегодня в этом кабинете нашли фибрилляцию у женщины, которую три месяца назад отпустили с «нормальной» кардиограммой. Давайте конверт.

— На этом? — Он кивает на аппарат.

— На этом. Аппарат не главное. Главное — не торопиться, когда торопят.

Я читаю заключение медленно, два раза, и краем глаза вижу, как он расстёгивает браслет отцовских часов и застёгивает его снова, и снова, — щелчок за щелчком, как метроном, который никто не просил включать.

Старый компьютер целую минуту думает над диском, прежде чем открыть снимки. Я листаю срезы. Серое сердце на чёрном фоне, перегородка толстая, как я и мерила, а в ней и в стенке рядом — светлые пятна после контраста, много, крупные, сливающиеся. Это фиброз, рубцовая ткань там, где должна быть живая мышца, и в заключении так и написано — обширный, с процентами.

Я откидываюсь на спинку стула и тру переносицу.

— Говорите, — просит он. — Я вижу по вашему лицу. Говорите как есть.

— Как есть. — Я поворачиваю к нему монитор. — Вот эти светлые участки — рубец. Это не опухоль и не воспаление. Это мышца, которая превратилась в соединительную ткань. Через рубец электрический сигнал идёт неправильно. Отсюда и тахикардия в четыре двенадцать. У вас рубца много. Это — высокий риск внезапной остановки сердца.

Он смотрит на экран — на серое сердце, своё.

— И что теперь?

— Теперь показан кардиовертер-дефибриллятор. — Я говорю медленно, чтобы он услышал каждое слово. — Не «можно обсудить». Не «на ваше усмотрение». Показан. Это значит: если бы вы были моим отцом, я бы уже записала вас к аритмологу.

— К кому?

— В областной больнице есть хирург-аритмолог. Я видела его работу. Он ставит такие приборы каждую неделю. Первый шаг — просто консультация. Разговор.

* * *

В кабинете стоит такая тишина, что различим даже вентилятор старого компьютера. Он долго смотрит на экран, потом на меня.

— Сколько у меня времени? Без операции.

— Я не знаю.

— Вы врач. Вы знаете статистику.

— Статистика — про тысячи людей. Вы — один. — Я выдерживаю его взгляд. — Честные врачи на такой вопрос не отвечают. Год? Десять лет? Завтра утром на лестнице? Тот, кто назовёт вам цифру, врёт или продаёт.

Он встаёт с кушетки, подходит к окну и стоит спиной ко мне, как тогда, на тридцатом этаже, только теперь за окном не город, а парковка и сугроб.

— У меня сделка с тремя банками. — Голос ровный, деловой. — Закрытие — в начале февраля. Если сейчас выйдет хоть слово, что я лёг на операцию на сердце, банки пересмотрят условия. Это двадцать миллиардов. Это три тысячи человек на терминалах. — Он оборачива-

ется. — Мне нужен месяц. Один месяц, Полина Андреевна. Закрою сделку — и делайте со мной что хотите.

— Нет.

— Месяц. Я буду осторожен. Никаких лестниц, никакого спорта, никаких…

— Вы торгуетесь, — перебиваю я. — Вы предлагаете мне сделку. Месяц вашей жизни в обмен на кредит. Я не банк. И ваше сердце — не залог.

— Это моё сердце.

— Да. И именно поэтому у вас нет права с ним торговаться. Оно не будет ждать, пока вы закроете сделку. Оно не знает про банки. Оно знает только рубец.

Он сжимает челюсть, и я вижу, как он сдерживается, — тот же человек, что у проходной, только злее и испуганнее.

— Вы мой врач, — говорит он тихо. — Вы должны мне помогать, а не ставить ультиматумы.

— Я вам помогаю. Тем, что не вру.

Я беру бланк и пишу ровно и разборчиво: «Пациенту рекомендована консультация аритмолога для решения вопроса об имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Риски отказа разъяснены».

— Если вы отказываетесь, — я поворачиваю бланк к нему, — подпишите. Это правило. Не моё — медицинское.

Он смотрит на бланк, потом на ручку, но не берёт её.

— Вы же понимаете, что я с этого не слезу, — говорю я. — Ни через месяц, ни через год. Буду звонить. Буду присылать вам статьи. Буду приходить на ваши совещания с этим бланком.

— Понимаю. — Уголок рта у него дёргается, но это не улыбка. — Поэтому и прошу всего месяц.

Он берёт с кушетки пальто, а конверт с диском оставляет на столе — то ли забыл, то ли нарочно, я не понимаю. У двери он останавливается.

— Тогда найдите мне врача, который скажет, что я здоров.

Он выходит, и шаги на лестнице звучат быстро, слишком быстро для его перегородки. Я бросаюсь к окну.

Внизу, у крыльца, дверь машины хлопает так, что с козырька осыпается снег.

Глава 11. Матч, на который он не пришёл

За завтраком Варя проверяет телефон четыре раза. Сырник у неё на вилке каждый раз остывает ещё на градус.

Вчера вечером Сергей Михайлович вывесил в родительском чате состав на воскресенье. Под номером семнадцать там стояло: «Гордеева В., нападающая».

Варя прочитала это вслух трижды — мне, своему зайцу и в трубку Галине Петровне, — а перед сном написала отцу.

Сообщение доставлено ещё в девять вечера. С тех пор под ним висят две серые галочки, которые никак не становятся синими.

— Может, он спит, — говорит она, глядя в экран. — У него вчера было дежурство?

— Не знаю, Варь. Правда не знаю.

Я держу слово, данное через дверь ванной, хотя иногда оно режет горло изнутри. Варя молча откусывает сырник и снова тянется к телефону.

— Мам, заплети мне две косы. Тугие, как у профессионалок. Чтоб под шлемом не разлезлись.

Я плету. Пальцы помнят это лучше, чем любой протокол: три пряди, перехлёст, натяжение. Варя сидит смирно, что с ней бывает раз в год, и шёпотом проговаривает что-то себе под нос.

Я прислушиваюсь: «синяя линия, принять, голову поднять, бросок с кисти». Она проигрывает матч в голове заранее — так я перед трудным исследованием мысленно прохожу все проекции.

Пока она ищет вторую резинку, я беру свой телефон и пишу Вадиму отдельно, не через неё: «Это её первый матч в составе. Она ждёт тебя на трибуне. Это важно».

Я перечитываю и стираю «Это важно» — он и так знает, что важно, а если не знает, то слова не помогут. Отправляю. Через минуту галочки синеют, но ответа нет.

В девять сорок экран наконец вспыхивает, и она выхватывает его так, что чуть не опрокидывает чашку.

«Зай, постараюсь к третьему периоду. Не скучай!»

— К третьему, — повторяет она, и лицо у неё светлеет. — Мам, третий период — самый главный. Там всегда всё решается.

Я смотрю на «постараюсь». В этом слове помещается целая тактика: обещание, которое не обещает ничего.

Сказать об этом дочери в день её первого матча я не могу, а соврать не хочу. Поэтому говорю другое:

— Тогда тем более надо хорошо сыграть первые два.

Она серьёзно кивает и уходит собирать сумку. Я ещё минуту смотрю на недоеденный сырник и считаю, сколько раз сама ждала этого человека к третьему периоду. Выходит много. Почти пятнадцать лет.

* * *

На трибуне холодно так, что пар от дыхания висит над рядами, как над прорубью. Родители сидят плотной кучкой, с термосами и самодельными плакатами; у кого-то на картоне блёстками выведено «Аня, жги!», и мне вдруг становится стыдно, что я не догадалась сделать такой же.

Девочки выкатываются на лёд в шлемах, которые кажутся больше их самих.

Варю я узнаю по семнадцатому номеру и по тому, как она катится: чуть наклонившись вперёд, с клюшкой на коленях. Будто вся её маленькая жизнь сейчас собрана в эту стартовую стойку.

Первый период проходит в беспорядочной толкотне у ворот. Во втором соперницы забивают дважды, и Варя, вернувшись на скамейку, бросает быстрый взгляд на трибуну — не на меня, а поверх меня, туда, где у входа появляются и исчезают опоздавшие отцы.

В перерыве я спускаюсь к стеклу за скамейкой. Варя замечает меня, стучит перчаткой по плексигласу и одними губами спрашивает: «Папа?»

Я могла бы показать неопределённый жест, какой показывают все родители, но вместо этого честно качаю головой: пока нет.

Она секунду смотрит на меня, потом вставляет капу обратно и отворачивается к тренеру. Девять лет — и уже умеет принимать плохие новости, не снимая шлема.

Перед третьим периодом я пишу Вадиму: «Третий начинается. Она смотрит на дверь». Сообщение уходит, и почти сразу приходит ответ: «Срочная операция, не успеваю. Поцелуй её».

Срочная операция в воскресенье. Я машинально открываю сторис Кристины, хотя обещала себе этого не делать. Белая скатерть, бокалы, тарелка с чем-то красиво уложенным и подпись: «Воскресный бранч — лучшее лекарство ##».

На соседнем стуле, у края кадра, лежит знакомый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Я сама покупала его в Праге.

Я убираю телефон и поднимаю глаза как раз в ту секунду, когда Варя получает шайбу у синей линии.

Она не ищет, кому отдать пас, а просто идёт вперёд — неуклюже, отчаянно, на подгибающихся коньках. Обходит одну защитницу, вторую и бросает.

Кистевой, тот самый, который Тимофей велел отрабатывать каждый день. Шайба проскальзывает под щиток вратаря и замирает в сетке.

Я не помню, как оказываюсь на ногах. Я кричу громко и некрасиво, за себя и за того, кого здесь нет.

Женщина с плакатом «Аня, жги!» хлопает меня по плечу, будто мы знакомы двадцать лет.

Варя разворачивается к трибуне, поднимает клюшку и ищет глазами. Её взгляд задерживается на мне на секунду, а потом скользит дальше, к двери, у которой никого нет. Клюшка медленно опускается.

Я кричу ещё громче, будто могу закрыть голосом пустое место у входа.

* * *

Матч они проигрывают три — один, но единственная шайба команды — Варина. Сергей Михайлович, выводя девочек со льда, говорит ей что-то такое, отчего она идёт в раздевалку, не касаясь коньками резинового пола.

Я жду её у бортика. Сверху, с последнего ряда, спускается долговязая фигура в хоккейной толстовке, а за ней Арсений, как всегда без шапки.

Он спускается осторожно, не отпуская перил, и я ловлю себя на том, что считаю ему шаги.

— Мы были наверху, — говорит Тимофей, спрятав руки в рукава толстовки. — Там лучше видно. И не так дует.

— Вы были на матче, — говорю я Арсению, и это звучит не вопросом, а обвинением, которое я сама от себя не ожидала.

— С самого начала. — Он смотрит не на меня, а на дверь раздевалки. — Тимофей сказал, что ваша дочь сегодня выходит в состав. Я подумал, что кто-то должен…

Он не договаривает: дверь распахивается, и Варя вылетает в коридор. Красная, мокрая, с косичкой, прилипшей к щеке, и с глазами, которые никак не решат, плакать им или сиять.

— Ты видела?! Мам, ты видела?!

— Видела. Весь стадион видел.

Тимофей хлопает её по шлему.

— Кистевой, — говорит он с видом тренера сборной. — Я же говорил.

Арсений достаёт из кармана пальто шайбу. Обычная чёрная шайба, только на ней белым маркером, крупными неровными буквами, написано: «Первому снайперу. 18.01.2026».

— Это твоя, — говорит он Варе, присев так, чтобы оказаться с ней вровень. — Та самая. Судья разрешил забрать. Первую шайбу хранят всю жизнь, это правило.

Клубный фотограф, который весь матч бегал вдоль борта, щёлкает вспышкой, но Варя этого даже не замечает.

Она берёт шайбу двумя руками, как берут что-то живое, и долго смотрит на надпись. Я начинаю бояться, что она расплачется прямо здесь.

— Снайпер, — шепчет она. — Мама меня так называет.

Арсений бросает на меня быстрый взгляд, и мне хочется сказать ему сразу две вещи: «как вы смеете» и «спасибо». Как он смеет приходить на матч, на который не пришёл её отец, и приносить то, что должен был принести другой?

Он не имеет права становиться для моей дочери тем, кем стал за эти пять минут. И как мне отблагодарить его за то, что сейчас моя девочка смотрит не на пустую дверь, а на шайбу у себя в руках?

— Скажи спасибо, — говорю я, и голос у меня выходит суше, чем хотелось бы.

— Спасибо! — Варя прижимает шайбу к нагруднику. — Я её на полку поставлю. Рядом с хоккеистом.

На улице двадцать пять градусов мороза, и моя машина, разумеется, не заводится.

Стартер жалобно щёлкает три раза и замолкает. Варя на заднем сиденье этого даже не замечает: она разговаривает с шайбой.

Арсений стоит у своего внедорожника и ждёт, пока я сдамся. Сдаюсь я на четвёртой попытке.

* * *

Варя засыпает, едва машина трогается, с шайбой в кулаке, привалившись к плечу Тимофея. Тот делает вид, что ему всё равно.

Арсений высаживает племянника у подъезда и везёт нас дальше по тёмному проспекту. Печка гудит, и долго никто из нас не говорит ни слова.

— Не надо было, — говорю я наконец. — Шайба, надпись. Она теперь будет ждать от вас того, чего не дождалась от отца.

— Я знаю.

— Тогда зачем?

Он останавливается у моего подъезда, но двигатель не глушит, и в зеркале я вижу, как Варя во сне крепче прижимает шайбу к груди.

— Я приехал не ради Тимофея, — говорит он, глядя перед собой. — Он бы прекрасно посмотрел матч без меня. Я приехал, потому что вы в прошлый понедельник сказали мне правду, а я хлопнул дверью. Мне хотелось увидеть, как выглядит ваша жизнь, когда вы не воюете со мной.

Я молчу, потому что не знаю, что на это ответить, не переступив черту, которую сама же провела.

— Я записался к другому кардиологу, — продолжает он, и голос у него становится ровнее, будто он зачитывает протокол совета директоров. — На четверг, в Москве. Для очистки совести. Если он скажет то же, что вы, я сдам генетический тест. Это не значит, что я согласен на железку. Это значит, что я перестал делать вид, будто ничего нет.

Я смотрю на его руки на руле. Пальцы не лежат спокойно и то и дело поправляют браслет отцовских часов.

Он боится — не врачей, не банков и не железки. Он боится, что второй кардиолог скажет то же самое, и тогда отступать станет некуда.

Я могла бы сказать, что Москва ничего не изменит, что время уходит и рубец не станет меньше от второго мнения.

Всё это правда, и всё это он знает. Поэтому я говорю другое:

— Хорошо. Пусть посмотрит. А потом позвоните мне.

— Вам, а не кардиологу?

— Мне, — повторяю я и только потом понимаю, что сказала.

— И ещё. — Он слегка поворачивает зеркало, чтобы видеть спящую Варю. — Я не собираюсь занимать чужое место. Если её отец завтра придёт на тренировку, я буду рад больше всех. Просто сегодня на трибуне было пусто, а она смотрела.

Он впервые за вечер поворачивает ко мне голову. В темноте салона его глаза кажутся совсем тёмными.

— Позвоню.

Я осторожно вынимаю Варю с заднего сиденья. Она тяжёлая, тёплая и не выпускает шайбу даже во сне.

Я несу её к подъезду не оглядываясь: знаю, что он не уедет, пока за нами не закроется дверь.

Ночью Варя спит, а шайба стоит на полке рядом со стеклянным хоккеистом. Телефон на тумбочке вспыхивает.

Вадим. Фотография с сайта хоккейной школы: раздевалка, Варя с шайбой в руках, а рядом, присев с ней вровень, — Арсений Баженов.

И одно слово под фотографией:

«Серьёзно?»

Глава 12. Жалоба

Главный врач центра вызывает меня в половине одиннадцатого, между пятнадцатым и шестнадцатым пациентом. Валя передаёт это с таким лицом, будто меня вызывают не к начальству, а на опознание.

Кабинет у главного врача маленький и заставлен папками до потолка. Сам он высокий, сутулый, с мягким голосом человека, который двадцать лет объясняет министерству, почему аппарату УЗИ нужен ремонт.

Лидия Марковна называла его своим лучшим ординатором. Сейчас он не знает, куда деть глаза.

— Полина Андреевна, присядьте. — Он двигает ко мне лист с синей шапкой. — Это пришло вчера. Копия — в департамент здравоохранения.

Я читаю. «Кардиоклиника Гордеева» уведомляет, что бывший сотрудник Гордеева П. А. при увольнении могла вынести базу данных участников программы «Ритм», содержащую персональные данные несовершеннолетних.

Клиника просит провести проверку и до её окончания ограничить доступ указанного врача к информационным системам, «в целях защиты интересов детей и их семей».

В целях защиты детей. Он написал это про меня.

Я аккуратно кладу лист на стол: держать его ровно у меня не получается.

— Я не брала базу, — говорю я ровно. — Я взяла бумажный протокол этического комитета, который выдан мне как руководителю исследования, и опубликованную статью. Обобщённые цифры есть в любой библиотеке. Ни одной фамилии, ни одной даты рождения.

— Я вам верю. — Он снимает очки и долго протирает их краем халата. — Но я обязан провести служебную проверку. Объяснительная, проверка ваших учётных записей у нас, запрос в клинику. Это недели три. Может, месяц.

— А пока?

— А пока вы работаете. Приём, диагностика, всё как было. — Он медлит. — Но к нашим информационным системам с данными детей я вас до конца проверки не допущу. Это не наказание. Это чтобы вас потом никто не мог обвинить ещё раз.

Я понимаю, что он прав, и от этого становится только хуже. Вадим не может ударить меня напрямую, поэтому бьёт туда, где я беззащитна: по слову «дети» рядом с моей фамилией.

— Объяснительную напишу сегодня, — говорю я и встаю. — Можно вопрос? В жалобе написано «могла вынести». Не «вынесла».

— Заметили, — кивает он почти с уважением. — Юристы. Им нужно не доказать, а посеять.

Объяснительную я пишу в перерыве между шестнадцатым и семнадцатым пациентом, прямо на краю кушетки. Три абзаца: что взяла, на каком основании, где это опубликовано.

Слово «вынесла» я дважды начинаю писать и дважды зачёркиваю — не хочу, чтобы оно стояло рядом с моей подписью даже в отрицании.

В итоге пишу: «Документы с персональными данными участников исследования я не копировала и не забирала». Перечитываю, ставлю дату и подпись.

Валя, проходя мимо, заглядывает мне через плечо и молча ставит рядом кружку с кофе. Это у неё, кажется, означает «держись».

* * *

Лидия Марковна выслушивает меня, не перебивая, а потом наливает чай в два гранёных стакана с подстаканниками, которые держит на кафедре «для серьёзных разговоров».

— Ты ничего не нарушила, — говорит она. — Это я знаю, и проверка это покажет. Теперь слушай, что из этого следует на самом деле.

Она ставит передо мной стакан и садится напротив, не снимая мужского пиджака.

— Эксперты фонда прочитают жалобу. Её им принесут, будь уверена. И после этого ни одна цифра «Ритма» в твоей заявке не будет весить ничего. Даже опубликованная. Даже правильная. Её будут читать так: «та самая, которая вынесла базу».

— Но это неправда.

— Правду установят в марте. А решение примут в мае, по впечатлению, которое сложится в феврале. — Она отпивает чай. — Поэтому старые данные мы больше не упоминаем вообще. Ты приходишь на комитет только со своими детьми. Новый протокол, новое согласие родителей, новая база, которую никто не сможет назвать украденной.

— Сколько?

— Пятьсот. Минимум. — Она загибает пальцы. — Комитет университета рассмотрит протокол десятого февраля. Эксперты фонда хотят получить материалы к первому апреля, чтобы успеть прочитать до двадцатого мая. Значит, обследование — с середины февраля до конца марта.

Я считаю в уме, как считаю интервалы на ленте. Пилот «Ритма» шёл три года: шесть школ, оборудование клиники, две ставки медсестёр.

Теперь у меня шесть недель, сорок фамилий, один старый аппарат и Зоя, которая работает бесплатно.

— Это невозможно, — говорю я. Голос звучит спокойнее, чем мне хотелось бы.

— Это трудно, — поправляет Лидия Марковна. — Невозможно — это когда пациент уже умер. Всё остальное — трудно.

Она достаёт из ящика стола потрёпанный ежедневник и раскрывает его на чистой странице.

— Нужен второй аппарат. У меня на кафедре стоит портативный, на нём учатся ординаторы. По выходным он свободен. Нужны ещё руки — возьмёшь двух моих ординаторов, им полезно. И нужны школы, которых ещё не купил твой бывший.

— Три уже есть. Лыжники, борьба, фигуристки ответили на письма.

— Мало. — Она пишет в ежедневнике цифру восемь и обводит её. — Восемь площадок. Ищи.

Я смотрю на эту обведённую восьмёрку и вдруг понимаю, что впервые за неделю не думаю о жалобе.

Лидия Марковна, кажется, понимает это раньше меня. Она чуть заметно улыбается и придвигает ко мне вазочку с сушками.

Из коридора кафедры я звоню Зое. Рассказываю про жалобу, про пятьсот детей и про шесть недель, ожидая, что она скажет то же, что сказала я: невозможно.

— Восемь школ, говоришь? — Я слышу, как она что-то записывает. — У меня сестра двоюродная в Берёзовском, в секции самбо администратором. И бывший муж, прости господи, тренирует мальчишек по мини-футболу. Раз в жизни от него будет польза.

— Зоя, ты его пять лет не видела.

— Вот и посмотрю, как он постарел. Ради науки можно.

* * *

Галина Петровна звонит, когда я выхожу из университета, и говорит без предисловий:

— Приезжай на чай. Сегодня. Варю Зоя заберёт с тренировки, я ей уже позвонила.

Двушка на Уралмаше пахнет капустным пирогом и старыми книгами. В прихожей висят фотографии выпусков — тридцать лет, тридцать рядов серьёзных лиц в белых фартуках и пиджаках.

На одной, совсем выцветшей, я узнаю Вадима: десятый класс, вихор, та же уверенная улыбка, с которой он через тридцать лет будет выступать перед инвесторами.

На кухне клеёнка в мелкий цветок и чайник со свистком, который она снимает с плиты за секунду до свиста, словно у них давнее соревнование.

— Про жалобу я знаю, — говорит она, разрезая пирог. — Вадим мне сам рассказал. С гордостью. Сказал: «Мама, я просто защищаю клинику». Я тридцать лет слушала, как дети объясняют, что просто защищались.

Она кладёт мне на тарелку кусок, хотя я не просила, и садится напротив. Очки на цепочке висят на груди, руки сложены на столе, как на педсовете перед трудным вопросом.

— Я тебе в декабре не всё сказала. Про восемнадцатый год.

Я молчу, потому что боюсь спугнуть то, что она сейчас скажет.

— Иск того родственника был пустой. Юрист клиники прямо сказал Вадиму, что его отклонят. Никакой угрозы твоей доле не было. — Она смотрит мне в глаза, не мигая. — Дарение придумал Вадим. Не юрист, не я. Он пришёл ко мне и сказал: «Мама, так будет надёжнее. Поля всё равно в бумагах не разбирается».

Поля не разбирается в бумагах. Я, которая пишет протоколы для этических комитетов.

— Иск отклонили через полгода. Я ему тогда сказала: верни. Он сказал: потом, когда всё утихнет. Через год я снова спросила. Он сказал: мама, зачем трогать, что работает. — Она невесело усмехается. — Работало. Для него.

— Почему вы молчали семь лет?

— Потому что ты не спрашивала. И потому что я думала, что вы семья и вам виднее. — Она медлит. — И потому что он мой сын, Полина. Матери очень долго верят, что сын просто запутался.

Она встаёт, выходит в комнату и возвращается с конвертом. Обычный почтовый конверт, пожелтевший на сгибах. Она не открывает его, только кладёт ладонь сверху.

— Он тогда мне написал. Письмом, представляешь? Не сообщением. Сказал, что так солиднее. — Она чуть разглаживает конверт. — Там его рукой: «Мама, долю Поле вернём, когда всё утихнет. Это временно, ты же понимаешь».

* * *

Я смотрю на конверт под её ладонью и слышу голос Инны Рябовой так ясно, будто она сидит рядом: «Без бумаги, где они признают, что обещали вернуть, — шансов у вас нет».

Вот она, эта бумага. В тридцати сантиметрах от меня, на клеёнке в мелкий цветок.

— Галина Петровна, — говорю я, и голос у меня садится. — Отдайте мне это письмо.

Она не убирает руку.

— Нет.

— Это доказательство. С ним суд…

— Я знаю, что это. — Она говорит тихо, но так, что я замолкаю. — Я тридцать лет директор. Я знаю, что такое документ. Поэтому и не отдам. Если я положу это письмо тебе в сумку, мой сын станет человеком, которого мать сдала в суд. Он этого не простит. Ни мне, ни себе, ни Варе.

— А мне он простит жалобу в департамент?

Она вздрагивает, как от пощёчины, и на секунду я жалею о сказанном. Потом не жалею.

— Ты права, — говорит она наконец. — Он перешёл черту. Почти. Жалоба на мать его ребёнка — это почти черта.

— Почти?

— Почти. — Она убирает конверт в карман вязаной кофты и застёгивает его на пуговицу, как застёгивают что-то окончательное. — Слушай меня внимательно, Полина. Я ему мать, и я дам ему шанс остановиться. Один. Но если он сделает ещё шаг — против тебя или против Вари — я выберу внучку. Это я тебе обещаю. При свидетелях, если хочешь.

— Свидетелей тут нет.

— Есть, — она кивает на стену, где висит фотография её покойного мужа в форме речника. — Он меня всегда ловил на слове.

Я ухожу с куском пирога в фольге и с обещанием, которое нельзя положить ни в сумку, ни в суд.

Это не письмо и не доля. Но месяц назад у меня не было и этого.

На лестнице я останавливаюсь у окна между этажами и открываю на телефоне заметки.

Врачебная привычка: всё, что услышала, записать сразу, пока не стёрлось и не переврали. Дата, время, адрес.

«Г. П. сообщила: дарение 2018 г. предложено В. С.; угрозы доле не было; письмо В. С. матери с обещанием вернуть долю хранится у Г. П.». Я сохраняю заметку и ловлю себя на том, что пишу о бывшем муже, как об анамнезе.

На парковке у подъезда мороз щиплет щёки, и я долго не могу попасть ключом в замок машины. Телефон вибрирует в кармане пальто, рядом с кольцом, которое я так и не решила, куда деть.

Арсений.

«Второй кардиолог сказал то же, что вы. Я сдал кровь на ген. Результат через неделю. Приезжайте, когда придёт. Не хочу открывать его один».

Глава 13. Ген

Письмо из лаборатории приходит в пятницу в девятом часу вечера, и через четыре минуты Арсений присылает мне одно слово: «Пришло».

Варю на эти выходные забрала Галина Петровна — с проездным, пирогом и обещанием научить внучку играть в «дурака», «чтобы она умела проигрывать без слёз». Я стою посреди пустой кухни в пальто, которое так и не успела снять, и понимаю, что поеду.

Не как подруга и не как женщина, которую позвали вечером на набережную, а как врач, который обещал, что пациент не будет открывать этот файл один. Я повторяю себе это всю дорогу, пока такси петляет по заснеженным улицам к реке.

Его квартира занимает весь верхний этаж дома на набережной Исети. Лифт открывается прямо в прихожую, и первое, что я замечаю, — пустота.

Огромная гостиная с панорамными окнами, за которыми лежит ночной город в огнях, диван, стол, два стула.

Ни картин, ни ковров, ни фотографий. Так живут люди, которые не собираются задерживаться надолго.

Арсений сидит за столом перед открытым ноутбуком. Рядом стоит нетронутая чашка с давно остывшим чаем.

— Я не открывал, — говорит он вместо приветствия. — Вы просили не открывать одному.

— Если там ничего нет, — говорит он, не глядя на меня, — вы скажете, что я здоров?

— Нет. Если там ничего нет, я скажу, что болезнь есть, а её причина — не найдена. Перегородка и рубец никуда не денутся от того, что напишет лаборатория.

— То есть хорошего варианта нет.

— Есть понятный и непонятный. Понятный лучше. Его можно лечить и можно проверить всю семью.

Он чуть наклоняет голову, будто ставит подпись, и сам разворачивает ко мне ноутбук.

Я придвигаю его ближе и открываю файл. Генетическое заключение написано сухим языком, который я знаю лучше, чем многие учебники: «Выявлен патогенный вариант в гене MYBPC3 в гетерозиготном состоянии».

Ниже — номер варианта. Я сверяю его с тем, что помню из заключения Тимофея два года назад, и цифры совпадают до последнего знака.

— Та же мутация, что у Тимофея, — говорю я. — Ген, который отвечает за белок сердечной мышцы. Из-за поломки в нём мышца утолщается. Это объясняет и вашу перегородку, и ваш рубец, и, скорее всего, вашего отца.

Он долго молчит. Смотрит не на экран, а в окно, где по мосту медленно ползут огни машин.

— Двадцать восемь лет, — говорит он наконец. — Я знал ответ двадцать восемь лет. Просто не хотел видеть его напечатанным.

— Знать и иметь бумагу — разные вещи.

— Вы так говорите, будто это хорошо.

— Это полезно. — Я поворачиваюсь к нему. — Теперь мы точно знаем, с чем имеем дело. И знаем, что вашей сестре тоже стоит сдать анализ. А потом, когда-нибудь, — вашим детям, если они будут.

Он коротко, некрасиво смеётся.

— Детям. Вот об этом я как раз и думал двенадцать лет назад.

* * *

Он встаёт и наливает нам обоим вина, хотя я не прошу. Себе — на донышко, и я замечаю, что он делает это так, будто сам себе выдаёт норму.

— В четырнадцатом году я был помолвлен, — говорит он, глядя в бокал. — Хорошая женщина, умная, весёлая. Мы выбрали ресторан для свадьбы, разослали приглашения. А потом я пошёл на похороны отца своего водителя. Тоже сердце, тоже внезапно, тоже сорок с небольшим. Я стоял у гроба и смотрел на вдову, на её мальчишек, и думал: вот так будет выглядеть моя невеста. Через пять лет, через десять.

— И вы ушли.

— Я ушёл. Сказал, что не готов. Она решила, что у меня другая. Пусть лучше так думает. — Он ставит бокал на подоконник. — После этого я строил холдинг, как строят завещание. Чтобы всё работало без меня. Чтобы мама, Лиза и Тимофей ни от кого не зависели, когда меня найдут на какой-нибудь лестнице.

Мне знаком этот способ жить: заранее отрепетировать худшее, чтобы оно не застало врасплох.

Я сама так жила последние месяцы, только репетировала не смерть, а что-то другое, чему боялась дать название.

— Ваша очередь, — говорит он. — Вы обо мне знаете больше, чем мой финансовый директор. Я о вас — почти ничего.

И я рассказываю. Не так, как рассказывала Зое, с шутками и диагнозами, а по-честному.

Про то, как пятнадцать лет говорила «мы», когда делала я. Как подписала дарение, не дочитав, потому что муж держал меня за руку.

Как вешала на стену его дипломы и прятала в ящик свои. Как в октябре резала пирог на семейном ужине у свекрови, а он в это время уже регистрировал мой «Ритм» на клинику.

— Знаете, что самое противное? — говорю я и сама удивляюсь, что произношу это вслух. — Не то, что он ушёл. А то, что я почти не удивилась. Как будто ждала. Как будто всё это время жила с диагнозом, который сама себе не ставила.

Он слушает так, как не слушал меня никто много лет: не перебивая, не утешая и не превращая мою историю в повод рассказать свою.

— Он подписывал вашу работу своим именем пятнадцать лет, — говорит он наконец. — А вы всё это время держали клинику на себе и называли это «мы». Знаете, как это называется у нас в логистике? Когда один везёт, а другой ставит печать в накладной?

— Как?

— Мошенничество. — Он пожимает плечами. — Но в семьях, говорят, это называется любовью. Я никогда не понимал разницы.

* * *

Мы оказываемся у окна, сама не знаю как. Город внизу кажется игрушечным: мост, набережная, тёмная полоса реки подо льдом.

Я стою так близко к стеклу, что чувствую холод сквозь свитер.

— Отсюда видно ваш дом, — говорит он. — Вон там, за парком. Я посмотрел, когда вы в первый раз прислали адрес.

— Это звучит немного пугающе.

— Это звучит честно. Вы же любите честно.

— Люблю. — Я смотрю на огни моста, а не на него. — Тогда честно: вы сейчас смотрите на меня не как на врача.

— Не как на врача, — соглашается он спокойно. — С той ночи на лестнице. Вы стояли надо мной в колготках, с телефоном в руке, и требовали, чтобы я дышал. Мне никто никогда ничего не требовал.

— Вы были без сознания. Это не считается.

— Я очнулся на тридцатой секунде. Вы считали вслух. — Он чуть улыбается. — Это считается.

Его рука касается моей — не берёт, а просто касается тыльной стороной, будто спрашивает. Я чувствую, как сбивается мой собственный пульс, и впервые за много лет не считаю его.

Расстояние между нами исчезает так просто, будто его и не было: шаг, наклон, его дыхание у моего виска.

Я отступаю в последний момент. Полшага назад, к холодному стеклу, — и этого оказывается достаточно.

— Я ваш врач, — говорю я тихо. — Это не кокетство, Арсений. Это этика. У вас в истории болезни моя подпись.

Он не обижается, не уговаривает и не делает вид, что ничего не было. Он просто отходит на шаг и убирает руки в карманы — я знаю этот жест: так он прячет то, что не может контролировать.

— Понятно, — говорит он. И после паузы, совершенно серьёзно, как спрашивают о сроках поставки: — А врача сменить можно?

Я смеюсь, хотя мне совсем не смешно.

— Сначала ответьте мне как пациент, — говорю я, потому что только так могу удержаться на ногах. — Что вы будете делать с этой бумагой?

— Скажите вы. Вы же врач.

— Лизе — к генетику, в течение месяца. Маме — ЭКГ и эхо, хотя бы для порядка. Вам — консультация аритмолога, как я писала на бланке, который вы не подписали. Ген ничего не меняет в показаниях. Он только убирает последнюю надежду, что МРТ ошиблась.

Он слушает, не перебивая, и я вижу, как он мысленно раскладывает это по пунктам — так, наверное, он раскладывает сделки.

— Лизе скажу сам, — говорит он. — Завтра. Маме — когда Лиза сдаст анализ. Про железку — я помню. Я не забыл ни одного вашего слова. Я просто ещё не готов.

— Вы никогда не будете готовы. Это не экзамен.

— Знаю. — Он подаёт мне пальто, и его руки на секунду задерживаются на моих плечах. — Об этом тоже потом?

— Об этом — потом.

Он узнаёт своё «потом» и улыбается, впервые за весь вечер. До лифта он провожает меня молча и стоит в дверях, пока створки не закрываются.

* * *

Дома я не сплю. Лежу в темноте, слушаю, как гудит холодильник, и прокручиваю вечер снова и снова, как прокручивают сложную запись, пытаясь понять, в какой момент ритм сорвался.

Ответ мне не нравится. Он сорвался не сегодня у окна, а гораздо раньше: на лестнице между восьмым и седьмым этажами, в машине у тагильской проходной, на арене с чёрной шайбой в его руке.

Я влюбляюсь в пациента. В человека, которому сама ставила диагноз и сама объясняла про рубец.

И если я сделаю вид, что этого нет, то перестану уважать себя быстрее, чем любой этический комитет.

Я встаю, завариваю чай, который так и не пью, и делаю то, что всегда делаю, когда не могу думать: пишу список. Два столбца, как в студенчестве перед трудным экзаменом.

«Если остаюсь его врачом»: я знаю его сердце лучше всех; он мне доверяет; он, может быть, согласится на операцию, потому что просить буду я.

«Если передаю»: я перестаю врать себе; никто не сможет сказать, что он лечится у женщины, которая участвует в конкурсе его фонда; его сердце будет вести человек, у которого не дрожат руки, когда он улыбается.

Последний пункт я зачёркиваю, потому что он слишком честный, а потом всё равно перечитываю.

К трём часам ночи решение готово. Я передам его другому кардиологу — хорошему, честному, которому смогу доверить его сердце.

Лидии Марковне. Она не пропустит ни одного эпизода на Холтере и не позволит ему торговаться.

К четырём часам я понимаю, что вместе с ним передам и единственный законный повод его видеть.

Никаких больше «отчитываюсь», никаких звонков в час ночи. Только конкурс фонда, где я — заявитель, а он — человек, от которого зависит судьба моего проекта.

В пять утра я открываю почту и пишу Лидии Марковне: «Прошу вас взять под наблюдение пациента с ГКМП. Причина — конфликт интересов, объясню лично».

Перечитываю, убираю «объясню лично» — это слабость, — потом возвращаю обратно, потому что это правда.

Письмо остаётся в черновиках. Такие вещи я привыкла говорить в глаза, а не присылать ночью.

Я засыпаю под утро, так и не решив, что страшнее: нарушить правило или его соблюсти.

Утром телефон будит меня сообщением от Зои. Ссылка на блог клиники и подпись: «Ты это видела?!»

Я открываю. Кристина в белом халате на фоне логотипа, сияющая улыбка и хэштег «скоро во всех школах области». Над фото крупно:

«„Ритм-2026“ — при поддержке холдинга „Северный терминал“».

Глава 14. Передать пациента

Черновик письма к Лидии Марковне так и лежит в почте с ночи пятницы. Во вторник утром я удаляю его и еду на кафедру сама: такие вещи не пересылают.

Лидия Марковна принимает меня между двумя аспирантами. Те выходят из кабинета с одинаковыми красными пятнами на щеках, и я понимаю, что мне сейчас тоже достанется.

— Три фразы, — говорит она, не поднимая глаз от чужой диссертации.

— Я веду пациента с гипертрофической кардиомиопатией и высоким риском внезапной смерти. Он председатель фонда, в конкурсе которого я участвую. И я… — Третья фраза застревает, и мне приходится начать её заново. — И я испытываю к нему чувства, которые мешают мне быть его врачом.

Лидия Марковна откладывает ручку, снимает очки со лба и долго смотрит на меня.

Я жду чего угодно: насмешки, лекции об этике, холодного «я тебя предупреждала». Вместо этого она спрашивает:

— Он знает?

— Знает. Я сказала ему, что я его врач и что это этика.

— Ты сказала это ему в лицо, а не написала в мессенджере?

— В лицо.

Она поджимает губы, будто ставит оценку, и складывает ру

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.